

Т. КИБИРОВ • ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

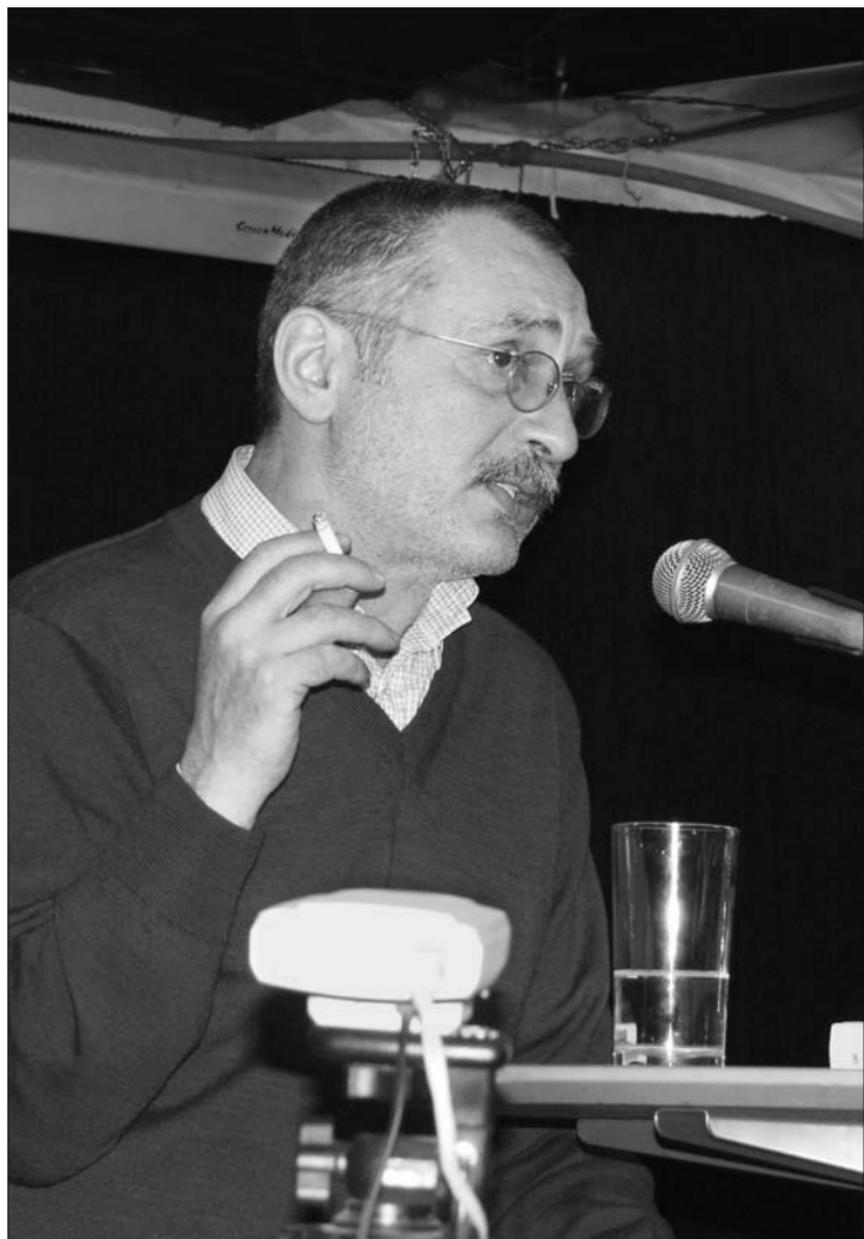
Тимур Кибиров

Внеклассное чтение

ПУШКИНСКИЙ ФОНД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХ





Тимур Кибиров

Внеклассное чтение
избранные стихотворения

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХ

К 38

ББК 84. Р7

Марка издательства работы

С. Семенова

ISBN 978-5-89803-202-9

© Т. Кибилов, 2010

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

У ДОРОГИ ЧИБИС

Д. Н.

Петляющей тропкой меж сосен
иду я погожим деньком.
Пронизана солнцем, стрекочет
родная природа кругом.

Пахучим теплом овекает
меня ветерок озорной.
Вон быстрая белка метнулась
и спряталась в хвое густой.

И, из лесу выйдя, вступаю
я в море раздольное ржи.
Приветливо мне улыбнулся
седой землемер у межи.

Привет вам, родные просторы,
речушка, овраги, стога,
коровы на поле зелёном,
в густой синеве облака,

цветы полевые России,
просёлок в прогретой пыли!
И чибис поёт у дороги.
Свои мы, пичуга, свои!

Из кузова встречной машины
девчата мне машут рукой.
И, с песней весёлой шагая,
иду я сторонкой родной.

Иду я и вижу, что дальше
стоит КПП на пути.
Сержантик с начищенной бляхой
велит мне к нему подойти.

Он паспорт мой долго листает,
являясь отличным бойцом.
И штык направляет в живот мне,
и пристально смотрит в лицо.

И вот он командует резко —
а ну, ханде хох и вперёд!
И плацем пустынным, бетонным
меня он куда-то ведёт.

Выходим мы с ним на тропинку,
меж сосен высоких идём.
Пронизана солнцем горячим,
стрекочет природа кругом.

Вспотевший мой лоб овевает
прохладой пустой ветерок,
и смотрит на нас из-за веток
пугливый и мелкий зверёк.

И, из лесу выйдя, вступаем
мы в море колхозное ржи,
и из-под ладони глазееет
на нас землемер у межи.

Проходим мы мимо оврагов,
речушки, стогов и коров
под синим, сияющим небом.
О край мой родной, будь здоров!

И чибис поёт у дороги.
Свои мы, пичуга, свои!
Девчата из кузова смотрят.
Волочатся ноги в пыли.

И вот КПП. И сержантик
с блестящею бляхой стоит.
И, штык направляя в живот нам,
на нас он сурово глядит.

И вот конвоир мой погоны,
ремень и оружие сдаёт.
И вот нам обоим команда —
а ну, ханде хох и вперёд!

И, плац миновав гарнизонный,
втроём мы меж сосен бредём.
И вновь безучастно природа
зудит и стрекочет кругом.

И, из лесу выйдя, вступаем
мы в море неубранной ржи.
И рот разевает слюнявый
на нас землемер у межи.

Овраги, стога и коровы.
Речушка сияет, как ртуть.
Испить бы водицы, конвойный!
Свалиться бы в пыль да уснуть!

И чибис поёт у дороги.
Свои мы, ей-богу, свои...
Из кузова девки хохочут
над нами... И снова пришли

мы на КПП, и сержантик
вновь смотрит и блещет штыком.
И вот через плац бесконечный
уже вчетвером мы бредём.

И снова тропинкой меж сосен.
Начальник, позволь закурить!
И полем, просёлком... За что же
нас всех землемер материт?

Да ты пристрели лучше, сволочь!
Волочатся ноги в пыли.
И чибис поёт у дороги.
Свои мы, свои мы, свои!!

И вновь КПП. И в колонну
построил нас новый сержант.
И вот впятером мы шагаем.
Эх, братцы, куда ж нам бежать!

И тропкой меж сосен, и полем,
родною своею землёй.
Конвойный, куда ты ведёшь нас?
Подумай своей головой!

И чибис поёт у дороги.
Свои мы, пичуга, свои!
И вот КПП. И сержантик
велит нам к нему подойти.

И вот вшестером по тропинке,
и вот всемером, ввосьмером,
десятком, толпою, всем миром
куда-то друг друга ведём...

Плывут облака над рекою.
И рожь золотая растёт.
Пугливая белка глазееет.
И чибис поёт и поёт.

1985



Спой мне песню, про всё что угодно,
лебединую песню, кумач!
Вижу я сквозь прощальные слёзы
ГУМ и МХАТ, и Турксиб, и КАМаз.

Вижу я — от Москвы до окраин
светлый путь, светлый план ГОЭЛРО,
вижу первенцев я пятилеток
и настенную роспись метро,

вижу, как под футболкой трепещет
комсомолки упругая грудь,
как весёлый монтажник-высотник
в облаках завершает свой труд,

и раскосых ребят-хлопководов
у фонтана на ВДНХ,
слышу слаженный рокот моторов
и рассветную песнь пастуха.

Сварщик с поднятой маскою! Брат мой!
Как хорош ты и как белозуб!
Вьётся солнцу и ветру навстречу
непокорный мальчишеский чуб!

Светлый путь, мой ровесник, товарищ,
звон бокалов на свадьбе твоей,
и седого путиловца тосты,
и картавая песня детей!

Светлый путь, светлый мальчик из гипса,
мальчик Ленин... Давай помолчим.
И присядем, дружок, на дорожку,
закурив мой «Дымок», погрустим.

Растяни же гармонь на прощанье,
Авель-Каин, родимый мой брат.
До свиданья, ты умер не дрогнув,
Отстоявши родной Сталинград!

Волга-Волга, Любовью Орловой
ты не так наполняешь сердца,
как великой любовью народной
окровавилась Русь до конца!

Мать Отчизна! Я сам подыхаю,
так что, что уж тут мне говорить.
И ума приложить не умею,
как тебя мне не петь, не любить.

Ах ты, глупая, бедная, злая,
пóтом с водкой пропахшая мать.
Мама рóдная, что же ты, мама?
Что ж ты пялишься в душу опять?

Эх, кудрявая, что ж ты не рада?
Что ты воешь, дурында моя?
За мученья, за гибель — я знаю,
всё равно — принимаю тебя!

И не нужен мне берег турецкий,
и чужая жратва не нужна.
Ничего мне не надо, маманя!
Поднеси мне хмельного вина.

Я гляжу сквозь прощальные слёзы,
хоть неведом назначенный срок.
Дай укутать тебя напоследок
в оренбургский пуховый платок.

1986

Из поэмы
«ЖИЗНЬ К. У. ЧЕРНЕНКО»

ГЛАВА V
РЕЧЬ ТОВАРИЩА К. У. ЧЕРНЕНКО
НА ЮБИЛЕЙНОМ ПЛЕНУМЕ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР 25 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА
(по материалам журнала «Агитатор»)

Вот гул затих. Он вышел на подмостки.
Прокашлявшись, он начал: «Дорогие
товарищи! Наш пленум посвящён
пятидесятилетию события
значительного очень...» Михалков,
склонясь к соседу, прошептал: «Прекрасно
он выглядит. А все ходили слухи,
что болен он». — «Тс-с! Дай послушать». «...съезда
Писателей советских, и сегодня
на пройденный литературой путь
мы смотрим с гордостью. Литературой,
в которой отражение нашли
XX-го столетия революци-
онные преобразования!» Взорвался
аплодисментами притихший зал. Проскурин
неистовствовал. Слёзы на глазах
у Маркова стояли. А Гамзатов,
забывшись, крикнул что-то по-аварски,
но тут же перевёл: «Ай, молодец!»
Невольно улыбнувшись, Константин
Устинович продолжил выступление.
Он был в ударе. Мысль, как никогда,
была свободна и упруга. «Дело,

так начатое Горьким, Маяковским, Фадеевым и Шолоховым, ныне продолжили писатели, поэты...»
И вновь аплодисменты. Евтушенко, и тот был тронут и не смог сдержать наплыва чувств. А Кугультинов просто лишился чувств. Распутин позабыл на несколько мгновений о Байкале и бескорыстно радовался вместе с Нагибиным и Шукшиным. А рядом Берггольц и Инбер, как простые бабы, ревмя ревели. Алигер, напротив, лишилась дара речи. «Ка-ка-ка...» — Рождественский никак не мог закончить. И сдержанно и благородно хлопал Давид Самойлов. Автор «Лонжюмо» платок бунтарский с шеи снял в экстазе, размахивая им над головой.
«Му-му-му-му» — все громче, громче, громче ревел Рождественский. И Симонов рыдал у Эренбурга па плече скупую солдатскою слезой. И Пастернак смотрел испуганно и улыбался робко — ведь не урод он, счастье сотен тысяч ему дороже. Вдохновенный Блок кричал в самозабвении: «Идите! Идите все! Идите за Урал!»
А там и Пушкин! Там и Ломоносов! И Кантемир! И Данте! И Гомер!..

Ну вот и всё. Пора поставить точку и набело переписать. Прощай же, мой Константин Устинович! Два года, два года мы с тобою были вместе.

Бессонные ночные вдохновенья
я посвящал тебе. И ныне время
проститься. Легкомысленная муза
стремится к новому. Мне грустно, Константин
Устинович. Но таковы законы
литературы, о которой ты
пред смертью говорил... Покойся с миром
до радостного утра, милый прах.

1986



Шаганэ ты моя, Шаганэ,
потому что я с Севера, что ли,
по афганскому минному полю
я ползу с вещмешком на спине...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Тихо розы бегут по полям...
Нет, не розы бегут — персияне.
Вы куда это, братья-дежкане?
Что ж вы, чурки, не верите нам?..
Тихо розы бегут по полям...

Я сегодня сержанта спросил:
«Как сказать мне “Люблю” по-душмански?»
Но бессмысленным, и хулиганским,
и бесстыжим ответ его был.
Я сегодня сержанта спросил.

Я вчера замполита спросил:
«Разрешите, — спросил, — обратиться?
Обрядить в наш берёзовый ситец
Гулистан этот хватит ли сил?»
Зря, наверно, его я спросил.

Шаганэ-маганэ ты моя!
Бензовоз догорает в кювете.
Мы в ответе за счастье планеты.
А до дембеля 202 дня.
Шаганэ ты, чучмечка моя.

Шаганэ ты моя, маганэ!
Там, на Севере, девушка Таня.
Там я в клубе играл на баяне.
Там Есенин на белой стене...
Не стреляй, дорогая, по мне!

И ползу я по этому полю —
синий май мой, июнь голубой!
Что со мною, скажи, что со мной —
я нисколько не чувствую боли!
Я нисколько не чувствую боли...

1986

ГЛУПОСТИ

II

Милый друг, наконец-то мы вместе!
Я хрустящую простынь стелю
с бледной меткою М-210
И люблю я. А после курю.

Я люблю тебя снова и снова,
жизнь моя, мне немало дано —
с полдесятого до полвосьмого
светлый пламень в душе и меж ног!..

Между тем за окном наступают
легендарные 70 лет
гласность воет, портвейн дорожает,
зажигают на улицах свет.

Ни в какой стороне я не буду.
Я с тобой на родимом краю...
Худо-бедно — а всё-таки чудо.
Чаем с булкой тебя я пою.

Я пою тебя, шторы задёрнув,
чтоб оттуда не смог кто-нибудь
разглядеть своим взором упорным
твою спину и левую грудь.

О жена моя! Русь моя! Зайка!
Вечный бой здесь да вечный покой...
Ладно, хватит, утрись, перестань-ка.
Видишь — месяц стоит над рекой!

По аллеям старинного сада
соловьи, соловьи до зари!
И белеет во тьме балюстрада,
и в мансарде окошко горит!

И акации гроздьа душисты!
Звёзды светлые в душу глядят!
И таинственно шепчутся листья,
о любви, о блаженстве твердят!

Чу! Далекая скрипка струнами
вторит страстным шептаньям моим,
ароматными машет ветвями
у беседки заветной жасмин.

Чу! Не Шуберт ли? Точно не знаю.
Шуберт, видимо. Видимо, он.
Я пою тебя, я призываю,
звёзды светлые светят меж крон.

В рощу лунную легкой стопою
ты приди, друг единственный мой!
На скамейке над звёздной рекою
стан твой нежный сожму я рукой!

Соловьи, соловьи до рассвета!
Чу! Хозяйка ключами бренчит...
Мы притихли, но песня не спета,
тихой сапой матрац доскрипит...

Кружева на головку... Чего ты?
Что смеёшься?.. И вправду смешно...
Трое суток до Нового года.
За окном тяжело и темно.

Мы простимся с тобой на пороге.
За порогом, как прежде, темно.
Ничего, ничего, ради Бога!
Всё равно — нам немало дано!

ХУДОЖНИКУ СЕМЁНУ ФАЙБИСОВИЧУ

В общем-то нам ничего и не надо.
Всё нам забава, и всё нам отрада.
В общем-то нам ничего и не надо —
только б в пельменной на липком столе
солнце горело, и чистая радость
пела-играла в глазном хрустале,
пела-играла
и запоминала
солнце на липком соседнем столе.
В укусной жижице, в мутной водице,
в юшке пельменной, в стакане твоём
всё отражается, всё золотится...

Ах, эти лица... А там, за стеклом,
улица движется, дышит столица.
Ах, эти лица,
ах, эти лица,
кроличьи шапки, петлицы с гербом.

Солнце февральское, злая кассирша,
для фортепиано с оркестром концерт
из репродуктора. Длинный и рыжий
ищет свободного места студент.
Как нерешительно он застывает
с синим подносом и щурит глаза.
Вот его толстая тётка толкает.
Вот он компот на неё проливает.
Солнце сияет. Моцарт играет.
Чистая радость, золотая слеза.
Счастычко наше, коза-дереза.

Грязная бабушка грязною тряпкой
столлик протёрла. Давай, допивай.
Ну и смешная у Сёмушки шапка!
Что прицепился ты? Шапка как шапка.
Шапка хорошая, тёплая шапка.
Улица движется, дышит трамвай.

В воздухе блеск от мороза и пара,
иней красивый на урне лежит.
У Гастронома картонная тара.
Женщина на остановке бурчит.

Что-то в лице её, что-то во взгляде,
в резких морщинах и алой помаде,
в сумке зелёной, в седеющих прядях
жуткое есть. Остановка молчит.
Только одна молодёжная пара
давится смехом и солнечным паром.
Девка глазеет. Трамвай дребезжит.

Как всё забавно и фотогенично —
зябкий узбек, прыщеватый курсант,
мент в полушубке — вполне симпатичный,
жеzl полосатый, румянец клубничный,
белые краги, свисток энергичный.
Славный морозец, товарищ сержант!

Как всё забавно и как всё типично!
Слишком типично. Почти символично.
Профиль на мемориальной доске
важен. И с профилем аналогичным
мимо старуха бредёт астматично
с жирной собакою на поводке.

Как всё забавно и обыкновенно!
Всюду Москва приглашает гостей.
Всюду реклама украсила стены:
фильм «Покаянье» и Малая сцена,
рядом фольклорный ансамбль «Берендей»
Под управленьем С. С. Педерсена...
В общем-то, нам, говоря откровенно,
этого хватит вполне. Постепенно
мы привыкаем к Отчизне своей.

Сколько открытий нам чудных готовит
полдень февральский! Трамвай, например.
Чёрные кроны и свет светофора.
Девушка с чашкой в окошке конторы.
С ранцем раскрытым скользит пионер
в шапке солдатской, слегка косоглазый.
Из разговора случайная фраза.
Спинка минтая в отделе заказов.
С тортом «Москвичка» морской офицер...

А стройплощадка субботняя дремлет.
Битый кирпич, стекловата, гудрон.
И шлакоблоки. И бледный гандон
рядом с бытовкой. И в мёрзлую землю
с осени вбитый заржавленный лом.
Кабель, плакаты... С колоннами дом,
Дом офицеров. Паркета блистанье,
и отдалённые звуки баяна.
Там репетируют танец «Свиданье».
Стенды суровые смотрят со стен.
Буковки белые из пенопласта.
Дядюшка Сэм с сионистом зубастым.
Политбюро со следами замен.

А электрички калининской тамбур
с тёмной пустою бутылкой в углу,
с тёткой и с мастером спорта по самбо,
с солнцем, садящимся в красную мглу
в чистом кружочке, продышанном мною.
Холодно, холодно! Небо родное.
Небо какое-то, Сёма, такое
словно бы в сердце зашили иглу,
как алкашу зашивают торпеду,
чтобы всегда она мучила нас,
чтоб в мешанине родимого бреда
видел гармонию глаз-ватерпас,
чтобы от этого бедного света
злился, слезился бы глаз наш алмаз!..

Кухня в Коньково. Уж вечер сгустился.
Свет не зажгли мы, и стынет закат.
Как он у Лены в очках отразился!
В стёклышке каждом — окно и закат.
Мой силуэт с огоньком сигареты.
Небо такого лимонного цвета.
Кто это? Видимо, голуби это
мимо подъёмного крана летят...

А на Введенском на кладбище тихо.
Снег на крестах и на звёздах лежит.
Тени ложатся. Ворчит сторожика...
А на Казанском вокзале чувиху
дембель стройбатский напрасно кадрит.
Он про Афган заливает ей лихо.
Девка щекастая хмуρο молчит.

Запах доносится из туалета.
Рядом цыганки жуют крем-брюле.

Полный мужчина, прилично одетый,
в «Правде» читает о встрече в Кремле.
Как нам привыкнуть к родимой земле?..

Нет нам прощенья. И нет «Поморина».
Видишь, Марлены стоят, Октябрины
плотной толпой у газетной витрины
и о тридцатых читают годах.
Блещут золотыми зубами грузины.
Мамы в Калугу везут апельсины.
Чуть ли не добела выгорел флаг
в дальнем Кабуле. И в пьяных слезах
лезет к прилавку щербатый мужчина.

И никуда нам, приятель, не деться.
Обречены мы на вечное детство,
на золотушное вечное детство!
Как обаятельны — мямлит поэт —
все наши глупости, даже злодейства...
Как обаятелен душка-поэт!
Зря только Пушкина выбрал он фоном!
Лучше бы Берию, лучше бы зону,
Брежнева в Хельсинки, вора в законе!
Вот на таком-то вот, лапушка, фоне
мы обаятельны 70 лет!

Бьют шизофреника олигофрены,
врут шизофреники олигофрену —
вот она, формула нашей бесценной
Родины, нашей особенной стати!
Зря ты шевелишь мозгами, приятель,
зря улыбаешься так откровенно!

Слышишь ли, Сёмушка, кошка несётся
прямо из детства, и банки гремят!
Как скипидар под хвостом её жжётся,
как хулиганы вдогонку свистят!
Крик её, смешанный с пением Отса,
уши мои малодушно хранят!

А толстогубая рожа сержанта,
давшего мне добродушно пинка,
«Критика чистого разума» Канта
в тумбочке бедного Маращука,
и полутёмной каптёрки тоска,
политзанятий века и века,
толстая жопа жены лейтенанта...
Злоба трусливая бьётся в висках...
В общем-то нам ничего и не надо...

Мент белобрысый мой паспорт листает.
Смотрит в глаза, а потом отпускает.
Всё по-хорошему. Зла не хватает.
Холодно, холодно. И на земле
в грязном бушлате валяется кто-то.
Пьяный, наверное. Нынче суббота.
Пьяный, конечно. А люди с работы.
Холодно людям в неоновой мгле.
Мёртвый ли, пьяный лежит на земле.

У отсидевшего срок свой еврея
шрамик от губ протянулся к скуле.
Тонкая шея,
тонкая шея,
там, под кашне, моя тонкая шея.
Как я родился в таком феврале?
Как же родился я и умудрился,

как я колбаской по Спасской скатился
мёртвым ли, пьяным лежать на земле?

Видно, умом не понять нам Отчизну.
Верить в неё и подавно нельзя.
Безукоризненно страшные жизни
лезут в глаза, открывают глаза!
Эй, суходрочка барачная, брызни!
Лейся над цинком гражданская тризна!
Счастычко наше, коза-дереза,
вша-вэпэша да кирза-бирюза,
и ни шиша, ни гроша, ни аза
в зверосовхозе «Заря коммунизма»...

Вот она, жизнь! Так зачем же, зачем же?
Слушай, зачем же, ты можешь сказать?
Где-то под Пензой, да хоть и на Темзе,
где бы то ни было — только зачем же?
Здрасте пожалуйста! Что ж тут терять?

Вот она, вот. Ну и что ж тут такого?
Что так цепляет? Ну вот же, гляди!
Вот полюбуйся же! Снова-здорово!
Наше вам с кисточкой! Честное слово,
чёрта какого же, хрена какого
ищем мы, Сёма,
да свищем мы, Сёма?
Что же обрящем мы, сам посуди?

Что ж мы бессонные зенки таращим
в окна хрущёвок, в февральскую муть.
Что же склоняемся мы над лежащим
мёртвым ли, пьяным под снегом летящим,
чтобы в глаза роковые взглянуть.

Этак мы, Сёма, такое обрящем...
Лучше б укрыться. Лучше б уснуть.
Лучше бы нам с головою укрыться,
лучше бы чаю с вареньем напиться,
лучше бы вовремя, Сёмушка, смыться...
Ах, эти лица... В трамвае ночном
татуированный дед матерится.
Спит пэтэушник. Горит «Гастроном».
Холодно, холодно. Бродит милиция.

Вот она, жизнь. Так зачем же, зачем же?
Слушай, зачем же, ты можешь сказать,
В цинковой ванночке легкою пемзой
голый пацан, ну подумай, зачем же
всё продолжает играть да плескаться?
На солнцепёке
далёко-далёко...
Это прикажете как понимать?

Это ступни погружаются снова
в тёплую, тёплую, мягкую пыль...
Что же ты шмыгаешь, рёва-корова?
Что ж ты об этом забыть позабыл?
Что ж тут такого?
Ни капли такого.
Небыль какая-то, тёплая гиль.

Небо и боль обращаются в дворик
в маленькой, солнечной АССР,
в крыш черепицу, в штакетник забора,
в тучный тутовник, невкусный теперь,
в чёрный тутовник,
зелёный крыжовник,
с марлей от мух растворенную дверь.

Это подброшенный мяч сине-красный
прямо на клумбу соседей упал,
это в китайской пижаме прекрасной
муж тёти Таси на нас накричал!
Это сортир деревянный просвечен
солнцем июльским, и мухи жужжат.
Это в беседке фанерной под вечер
шёпотом страшным рассказы звучат.

Это для папы рисунки в конверте,
пьяненький дядя Серёжа-сосед,
недостижимый до смерти, до смерти,
недостижимый, желанный до смерти
Сашки Хвальковского велосипед!..

Вот она, вот. Никуда тут не деться.
Будешь, как миленький, это любить!
Будешь, как проклятый, в это глядеться,
будешь стараться согреть и согреться,
луч этот бедный поймать, сохранить!

Щёлкни ж на память мне Родину эту,
всю безответную эту любовь,
музыку, музыку, музыку эту,
Зыкину эту в окошке любом!
Бестолочь, сволочь, величие это:
Ленин в Разливе, Гагарин в ракете,
Айзенберг в очереди за вином!

Жалость, и малость, и ненависть эту:
ёлки скелет во дворе проходном,
к международному дню стенгазету,
памятник павшим с рукою воздетой
утренний луч над помойным ведром,

серый каракуль отцовской папахи,
дядин портрет в бескозырке лихой,
в старой шкатулке бумажки Госстраха
и облигации, ставшие прахом,
чайник вахтёрши, туман над рекой.

В общем-то нам ничего и не надо.
В общем-то нам ничего и не надо!
В общем-то нам ничего и не надо —
только бы, Господи, запечатлеть
свет этот мертвенный над автострадой,
куст бузины за оградой детсада,
трёх алкашей над речною прохладой,
белый бюстгалтер, губную помаду
и победить таким образом Смерть!

Сёмушка, шёлкова наша бородушка,
Сёмушка, лысая наша головушка,
солнышко встало, и в комнате солнышко.
Встань-поднимайся. Надо успеть.

1987

ЭКЛОГА-2

Мой друг, мой нежный друг, зарывшись с головою
в пунцовых лепестках гудит дремучий шмель.
И дождь слепой пройдет над пышною ботвою,
в террасу проскользнёт сквозь шиферную щель,

и капнет на стихи, на жёлтые страницы
Эжена де Кюсти, на огурцы в цвету.
И жесьть раскалена, и кожа золотится,
анисовка уже теряет кислоту.

А раскладушки холст всё сохраняет влажность
ушедшего дождя и спину холодит.
И пение цикад, и твой бюстгальтер пляжный,
и сонных кур возня, и пенье аонид.

Сюда, мой друг, сюда! Ты знаешь край, где вишня
объедена дроздом, где стрекот и покой,
и киснет молоко, мой ангел, и облыжно
благословляет всех зеленокудрый зной.

Зеленокудрый фавн, безмозглый, синеглазый,
капустницы крыла и Хлои белизна.
В сарае тёмном пыль, и ржавчина, и грязный
твой плюшевый медведь, и лирная струна

поёт себе, поёт. Мой нежный друг, мой глупый,
нам некуда идти. Уж огурцы в цвету.
Гармошка на крыльце, твои сухие губы,
веснушки на носу, улыбки на лету.

Но, ангел мой, замри, закрой глаза. Клубнику
последнюю уже прими в ладонь свою,
александрийский стих из стародавней книги,
французскую печаль, летейскую струю

тягучую, как мёд, прохладную, как щавель,
хорошую, как ты, как огурцы в цвету.
И говорок дриад, и купидон картавый,
соседа-фавна внук в полуденном саду.

Нам некуда идти. Мы знаем край, мы знаем,
как лук порей красив, как шмель нетороплив,
как зной смежил глаза и цацкается с нами,
как заросла вода под сенью старых ив.

И некуда идти. И незачем. Прекрасный,
мой нежный друг, сюда! Взгляни — лягушка тут
зелёная сидит под георгином красным.
И пусть себе сидит. А нам пора на пруд.

1988

ПОСЛАНИЕ ЛЕНКЕ

Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая,
румяная, с светлорусыми волосами, гладко
зачёсанными за уши, которые у ней так и горели.
С первого взгляда она не очень мне понравилась.
Я смотрел на неё с предубеждением: Швабрин описал
мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкою.

А. С. Пушкин

Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно,
что невозможно практически это. Но надо стараться.
Не поддаваться давай... Канарейкам свернувши
головки,
здесь развитой романтизм воцарился, быть может,
навек.
Соколы здесь, буревестники все, в лучшем случае —
чайки.
Будем с тобой голубками с виньетки. Средь клёкота
злого
будем с тобой ворковать, средь голодного
волчьего воя
будем мурлыкать котятами в тёплом лукошке.
Не эпатаж это — просто желание выжить.

И сохранить, и спасти... Здесь, где каждая
вшивая шавка
хрипло поёт под Высоцкого: «Ноги и челюсти
быстры,
мчимся на выстрел!» И, Господи, вот уже мчатся
на выстрел,
сами стреляют и режут... А мы будем квасить
капусту,

будем варенье варить из крыжовника в тазике
медном,
вкусную пенку снимая, назойливых ос отгоняя,
пот утирая блаженный, и банки закручивать будем,
и заставляя антресоли, чтоб вечером зимним,
крещенским
долго чаи распивать под уютное ходиков пенье,
под завыванье за окнами блоковской вьюги.

Только б хватило нам сил удержаться на этом
плацдарме,
на пяточке этом крохотном твердом среди хлябей
дурацких,
среди стихии бушующей, среди девятого вала
канализации гордой, мятежной, прорвавшей
препоны
и колобродящей семьдесят лет на великом просторе,
нагло взметая зловонные брызги в брезгливое небо,
злобно куражась... О, не для того даже, не для
того лишь,
чтобы спастись, а хотя б для того, чтобы,
в зеркало глядя,
не испугались мы, не ужаснулись, Ленуля.

Здесь, где царит романтизм развитой, и реальный,
и зрелый,
здесь, где штамповщик любой, Пэтэушник, шофёр,
и нефтяник
и инженер, и инструктор ГУНО, и научный
сотрудник —
каждый буквально — позировать Врубелю может,
ведь каждый
здесь клеветой искушал Провиденье, фигнёю,
мечтою

каждый прекрасное звал, презирал вдохновенье,
не верил
здесь ни один ни любви, ни свободе, и с глупой
усмешкой
каждый глядел, и хоть кол ты теши им —
никто не хотел здесь
благословить ну хоть что-нибудь в бедной природе.

Эх, поглядеть бы тем высоколобым
и прекраснодушным,
тем презиравшим филистеров, буршам мятежным,
полюбоваться на Карлов Мооров в любой подворотне!
Вот вам в наколках Корсар, вот вам Каин
фиксатый и Манфред,
вот, полюбуйтесь, Мельмот пробирается нагло
к прилавку,
вот вам Алеко поддатый, супругу свою матерящий!
Бог ваш лемносский сковал эту финку
с наборною ручкой!
Врет Александр Александрыч, не может быть
злоба святою.

Здесь на любой танцплощадке как минимум
две Карменситы,
здесь в пионерской дружине с десятков Манон,
а в подсобке
здесь Мариула дарит свои ласки, и ночью турбаза
стонет, крихтит Клеопатрой бесстыжей!..

И каждый студентик
Литинститута здесь знает — искусство превыше
морали.
На семинаре он так и врезает надменно: «Эстетика
выше морали бескрылой, мещанской!»

И мудрый Ошанин,

мэтр седовласый, ведущий у них семинары,
с улыбкой
доброю слушает и соглашается: «В общем-то, да».
В общем-то, да... Уж конечно... Но мы с тобой
всё-таки будем
Диккенса вслух перечитывать, и Честертона,
и, кстати,
«Бледный огонь», и «Пнина», и «Лолиту», Лёнуля,
и Лёву
будем читать-декламировать, Бог с ним, с де Садом...

Но и другой романтизм здесь имеется — вот он,
голубчик,
вот он сидит, и очки протирает, и всё рассуждает,
всё не решит, бедолага, какая-токая дорога
к храму ведёт, балалайкой бесструнную
всё тарахтит он.

И прерывается только затем, чтобы с липкой
клеёнки
сбить таракана щелчком, — и опять
о Духовности, Лена,
и медитирует, Лена, над спинкой минтая.

А богоборцы, а богоискатели? Вся эта погань,
вся достоевщинка рódная? Помнишь, зимою
в Нарыне
в командировке я был? Там в гостинице
номер двухместный,
без унитаза, без раковины, но с эстампом
ярчайшим,
целых три дня и две ночи делил я с каким-то
усатым
мелиоратором, кажется, нет, гидротехником...
в общем,

что-то с водою и с техникой связано... Был он
из Фрунзе,
но не киргиз, а русак коренной. Поначалу спокойно
жили мы, «Сопот» смотрели, его угощал
я индийским
чаем, а он меня всякой жратвою домашнею.
Но на вторые
сутки под вечер явился он с другом каким-то,
киргизом,
как говорится, ужратый в умат! И ещё раздавили
(впрочем, со мною уже) грамм четыреста водки
«Кубанской».
Кореш его отвалил. И вот тут началось.

Начал икать он, Ленуля, а после он стал материться.
Драться пытался, стаканом бросался в меня,
и салагой
хуевым он обзывал меня зло, и чучмеком ебанным.
После он плакал и пел — как в вагонах зелёных
ведётся,
я же — как в жёлтых и синих — помалкивал.
«В Бога ты веришь? —
вдруг спросил он. — Я, бля, говорю, в Бога
веришь?» — «Ну, верю». —
«Верю! Нет, врёшь, ты, бля, сука, не веришь!..
У, ёбанный корень!
Не понимаешь ты, блядь! Я вот верю!
Я, сука-бля, верю!
Но не молюсь ни хуя! Не, ты понял, бля?
Понял, сучонка?» —

«Понял я, понял». — «А вот не пизди.
Ни хера ты не понял.
Лёха, бля, Шифер не будет стоять на коленях!!»
Ей-богу,

не сочинил я ни капельки, так вот и было,
как будто
это Набоков придумал, чтоб Федор Михалыча
насмерть
несправедливо и зло задразнить... Так давай же
стараться!
Будем, Ленулька, мещанами — просто
из гигиенических
соображений, чтоб эту паршу, и коросту, и триппер
не подхватить, не поплыть по волнам этим, жёнка.

Жить-поживать будем, есть да похваливать,
спать-почивать будем,
будем герани растить и бегонию, будем котлетки
кушать, а в праздники гусика, если ж не станет
продуктов —
хлебушек чёрненький будем жевать, кипяток
с сахаринчиком.
Впрочем, Бог даст, образуется всё. Ведь не много
и надо
тем, кто умеет глядеть, кто очнулся и понял навеки,
как драгоценно всё, как всё ничтожно, и хрупко,
и нежно,
кто понимает сквозь слёзы, что весь этот мир
несуразный
бережно надо хранить; как игрушку,
как ёлочный шарик,
кто осознал метафизику влажной уборки.

Выйду я утром с собачкою нашей гулять,
и, вернувшись,
зонтик поставив сушиться, спрошу я:
«Елена Иванна,
в кулинарии на Волгина все покупали ромштексы.

Свежие вроде бы. Может быть, взять?» —

«Нет, ромштексы не надо.

Сало одно в них. Нам мама достала индейку.

А что это как вы чудно произносите — кулинария?» —

«А что ж тут, жёнка, чудного, так все говорят». «Кулинария надо произносить, Тимур Юрьич, по правилам». —

«Ну, насмешила!

Что ещё за кулинария?» — «А вот мы посмотрим». —

«Давайте».

«Вот вам, пожалуйста!» — «Где?.. Кулинария...

Ну, я не знаю.

Здесь опечатка, наверно».

И как-нибудь ночью ты скажешь:

«Кажется, я залетела...» Родится у нас непременно мальчик, и мы назовем его Юрой в честь деда

иль Ваней.

Мы воспитаем его, и давай он у нас инженером или врачом, или сыщиком, Леночка, будет.

1990

СОРТИРЫ

Е. И. Борисовой

Державин приехал. Он вошёл в сени,
и Дельвиг услышал, как он спросил
у швейцара: «Где, братец, здесь нужник?»

А. С. Пушкин

1

Не все ль равно? Ведь клялся Пастернак
насчёт трюизмов — мол, струя сохранна.
Поэзия, струись! Прохладный бак
фаянсовый уж полон. Графомана
расстройство не кончается никак.
И муза, диспепсией обуяна,
забыв, что мир спасает красота,
зовёт меня в отхожие места —

2

в сортиры, нужники, ватерклозеты,
etc. И, то сказать, давно
все остальные области воспеты
на все лады возможные. Вольно
осводовцам отечественной Леты
петь храмы, и займки, и гумно,
и бортничество — всю эту халяву
пора оставить мальчикам в забаву.

3

Равно как хлорофилл, сегмент, дисплей,
блюз, стереопоэмы — всё, что ловко
к советскому дичку привил Андрей
Андреич. Впрочем, так же, как фарцовку
огарками ахматовских свечей,
обрывками цветаевской верёвки,
набоковской пылью. Нам пора
сходить на двор. Начнём же со двора.

4

О, дай Бог памяти, о, дай мне, Каллиопа,
блаженной точности, чтоб описать сей двор!
Волною разноцветного сиропа
там тянется июль, там на забор
отброшена лучами фильмоскопа
тень бабочки мохнатой, там топор
сидит, как вор, в сирени, а пила
летит из-за сарая, как стрела.

5

Там было всё — от белого налива
до мелких и пятнистых абрикос,
там пряталась малиновая слива,
там чахнул кустик дедушкиных роз,
и вишня у Билибиных на диво
была крупна. Коротконогий пёс
в тени беседки изнывал от скуки,
выкусывая блох. Тоску разлуки

6

пел Бейбутов Рашид по «Маяку»
в окне Хвалько. Короче, дивным садом
эдемским этот двор в моём мозгу
запечатлён навеки, вертоградом
Господним. Хоть представить я могу,
что был для взрослых он нормальным адом
советским. Но опять звенит оса,
шипит карбид, сияют небеса

7

между антенн хрущёвских, дядя Слава,
студент КБГУ, садится вновь
в костюме новом на погранзаставу
из пластилина. Выступает кровь
после подножки на коленке правой.
И выступают слёзы. И любовь
першит в груди. И я верчусь в кровати,
френч дедушкин вообразив нехстати.

8

Но ближе к теме. В глубине двора
стоял сортир дощатый. Вот примерно
его размеры — два на полтора
в обоих отделеньях. И наверно,
два с половиной высота. Дыра
имела форму эллипса. Безмерна
глубь тёмная была. Предвечный страх
таился в ней... Но, кстати, о горшках

9

я не сказал ни слова! Надо было
конечно же начать с ночных горшков
и описать, как попку холодило
касание металла. Не таков
теперь горшок — пластмасса заменила
эмалевую гладкость, и цветов
уж не рисуют на боках блестящих.
И крышек тоже нету настоящих.

10

Как сказано уже, дышала тьма
в очке предвечным ужасом. В фольклоре
дошкольном эта мистика дерьма
представлена богато. Толстый Боря
Чумилин, по прозвищу Чума,
рассказывал нам, сидя на заборе,
о детских трупах, найденных на дне,
о крысах, обитавших в глубине

11

сортира, отгрызающих мгновенно
мужские гениталии... Кошмар...
Доселе я, признаюсь откровенно
(фрейдист, голубчик, ну-ка не кемарь!),
опаску ощущаю неизменно,
сядась орлом... В реальности комар
один зудел. Что тоже неприятно...
Ещё из песни помнится невнятно

12

смерть гимназистки некой... Но забыл
я рассказать о шифере, о цвете,
в который наш сортир покрашен был,
о розоватом яблоневои цвете,
который вешний ветер заносил
в окошки над дверями, о газете
республиканской «Коммунистиче жол»
на гвоздике... а может, жул... нет, жол.

13

Был суриком, словно вагон товарный,
покрашен наш сортир. Когда бы Бог
мне даровал не стих неблагодарный,
а кисть с мольбертом, я бы тоже смог,
как тот собор Руанский кафедральный
живописал Моне, сплести венок
пейзажный из сортира — утром чистым,
ещё не жарким, ярким и росистым,

14

когда пирамидальный тополь клал
тень кроны на фасад его, и в жгучий
июльский полдень — как сиял металл
горячих ручек, и Халид могучий
на дочку непослушную орал,
катавшуюся на двери скрипучей,
и крестовик зловещий поджидал
блистающую изумрудом муху
под шиферную крышей, и старуху

15

хакуловскую медленно вела
к сортиру внучка взрослая и долго
на солнцепёке злилась и ждала.
А на закате лучик, ярче шёлка
китайского, и тонкий, как игла,
сочился сзади сквозь любую щёлку,
и остывал спокойный небосвод
в окошке с перекладиной. Но вот

16

включали свет, и наступала темень
в окошке и вообще во всём дворе.
И насекомых суетное племя
у лампочки толкло, а у дверей
светились щели... Впрочем, эта тема
отдельная. Любимый мой хорей
тут подошел бы более... В Эдеме,
как водится, был змий. В моей поэме

17

его мы обозначим Саша Х.
Ровесниками были мы, но Саша
был заводилой. Не возьму греха
на душу — ни испорченной, ни гаже
он не был, но труслива и тиха
была моя натура, манной кашей
размазанная. Он же был смелей
и предприимчивей. И, может быть, умней.

18

Поэтому, когда пора настала,
и наш животный ужас пред очком
сменился чувством новым, он, нимало
не медля, не страшась, приник зрачком
к округлым тайнам женского начала,
воспользовавшись маленьким сучком
в сортирной стенке... И боренье долга
с преступным чувством продолжалось долго

19

в моей душе, но наконец я пал
перед соблазном Сашкиных рассказов
и зрелищ любострастных возалкал.
Лет семь нам было. В чайньи экстазов
неведомых я млеял и трепетал.
В особенности Токишева Аза
(я вынужден фамилию изменить —
ещё узнает, всяко может быть)

20

влекла нас, очевидно, потому,
что мы чутьём звериным уловляли
вокруг нее таинственную тьму
намёков, сплетен. У Хохловой Гали
она квартировала. Почему
в греховности её подозревали —
неясно. Разведёнкую была
она. К тому ж без своего угла.

21

От тридцати до сорока, а может,
и меньше было ей. Огромный бюст,
шиньон огромный, нос огромный тоже.
Тугой животик, нитка алых бус.
Метр пятьдесят с шиньоном. На «Искоже»
она была бухгалтершей. Но пусть
читатель лучше вспомнит крышку пудры
с портретом Карменситы чернокудрой.

22

И мы подстерегли её! Когда
она, как мусульманке подобает,
с кувшином серебристым (лишь вода,
отнюдь не целлюлоза очищает
ислама дочерей) вошла туда,
куда опять, увы, не поспекает
тройная рифма, я за Сашкой вслед
шмыгнул в отсек соседний... Сколько лет

23

прошло, а до сих пор ещё мне страшно
припомнить это — только Сашка смог
сучок проклятый вытащить, ужасный
раздался крик, и звон, и плеск! Мой Бог!
Остолбенеv, я видел, как напрасный
крючок был сорван бурей, как Сашок
пытался мимо проскользнуть взбешённой
бухгалтерши, как оживлялся сонный,

24

залитый солнцем двор... Я был спасён
каким-то чудом. Почему-то Аза
заметила лишь Сашку... Как же он
был выпорот! Никто меня ни разу
так не порол. А после заточён
он был в сарай до ночи. Впрочем, сразу
уже под вечер следующего дня
к окошкам бани он манил меня.

25

Но тщетно... Представляю, как злорадно
из «Обозренья книжного» О. М.
посмаковал бы случай этот. Ладно.
Неинтересно это. Между тем
есть столько интересного! Отраднo
Пегасу на раздолье свежих тем
резвиться и пастись — пускай немного
воняет, но уж лучше, чем дорога

26

шоссейная, где тянется обоз
усталых кляч... И кстати, о дорогах!
Пыхтит и пахнет сажей паровоз,
не списанный ещё. Давай-ка трогай,
и песню не забудь, и папирос
дым голубой в вагоне-ресторане
ты не забудь, и жидкий чай в стакане

27

с барочным подстаканником, и взгляд
в окне крошечном двойника смешного
и как во тьме мучительно храпят
в купе соседнем, как проходишь снова
в конец вагона, и бредёшь назад,
прочтя дугой начертанное слово
безжалостное «Занято». Но вот
свободно наконец. И настает

28

блаженства миг. И не забудь про ручку
удобную на стенке, чтобы ты
не грохнулся со стульчака, про тучки
в приспущенном окошке, красоты
необычайной, мчавшиеся кучно
со скоростью экспресса из Читы,
покуда ты, справляя напряженно
нужду большую, смотришь удивлённо

29

на схему труб и кранов на стене.
Так не забудь! Клянусь, что не забуду!
Теперь нажми педаль. Гляди, на дне
кружок открылся, стук колес оттуда
ворвался громкий и едва ли не
тревожный ветер странствий... Но кому-то
уже приспичило... Ты только не забудь
мельканье шпал в кружочке этом... Путь

30

воздушный ждёт теперь нас. Затхлый запах,
химически тоскливый, на борту
Аэрофлота ожидает. Трапы
отъехали. И вот гудящий Ту
парит над облаками. Бедный папа
идёт меж кресел, к моему стыду,
с моим гигиеническим пакетом
в конец салона... Этим туалетам

31

я посвящу не более строфы.
Упомяну лишь дверцу. И конечно,
цвет жидкости, смывающей в эфир
земные нечистоты плоти грешной.
И всё. Немного северней Уфы,
внедрившись внутрь равнины белоснежной,
идём мы на снижение. Силуэт
планёра украшает мой пакет.

32

Сестра таланта, где же ты, сестрица?
Уж три десятка строф я миновал,
а описал покамест лишь крупицу
из тех богатств, что смутно прозревал
я сквозь кристалл магический. Вертится
нетерпеливый Рубинштейн. Бокал
влечёт Серёжу. Надо бы прерваться.
Итак, антракт и смена декораций.

.....

33

Ну что ж, продолжим. Вот уже угри
язвительное зеркало являет.
Они пройдут нескоро. Но смотри —
полярное сиянье разливает
свой пламень над посёлком Тикси-3,
и пышный Ломоносов рассуждает
о Божием величии не зря,
когда с полночных стран встает заря!

34

На берегу моря Лаптевых, восточней
впадения Лены, гарнизон стоял.
Приехали туда мы летом. Сочный
аквамарин солёный оттенял
кумач политработы и сверхсрочный
линялый хаки. Свет дневной мешал
заснуть, и мама на ночь прикрепляла
к окну два тёмно-синих одеяла

35

солдатских. Мы вселились налегке
в барак длиннющий. За окошком сопки
из Рокуэлла Кента. Вдалеке
аэродром. У пищеблока робко
вертелся пёс мохнатый, о Клыке
напомнив Белом. Серебрились пробки
от питьевого спирта под окном
общаги лейтенантской, где гуртом

36

герои песен Визбора гуляли после полётов. Мертвенный покой родимой тундры чутко охраняли локаторы. Стройбат долбил киркой мерзлоты вековечные. Пылали костры, чтоб хоть немного ледяной грунт размягчить. А коридор барака загромождён был барахлом. Однако

37

в нём жизнь кишела: бегали туда-сюда детишки, и со сковородкой с кусками оленины (никогда я не забуду этот вкус!) походкой легчайшею шла мама, и вражда со злыми близнецами Безбородко мне омрачила первые деньки. Но мы от темы слишком далеки.

38

Удобств, конечно, не было. У каждой двери стояла бочка с питьевой водою. Раз в неделю или дважды цистерна приезжала с ледяной, тугой, хрустальной влагою... Пока что никак не уживаются со мной злодейки-рифмы — две ещё приходят, но хоть ты тресни — третью не приводят!..

39

А туалет был размещён в сенях.
Уже не помню, как там было летом.
Зимою толстый иней на стенах
белел, точнее, желтел под тусклым светом
Арктический мороз вгрызался в пах
и в задницу, и лишь тепло одетым
ты мог бы усидеть, читатель мой,
над этой ледовитою дырой.

40

Зато зловонья не было, и проще
гораздо было яму выгребать.
Якут зловецкий, темнолицый, тощий,
косноязычно поминавший мать
любых предметов, пьяный как извозчик,
верней, как лошадь пьющий... Я читать
тогда Марк Твена начал — он казался
индейцем Джо, и я его боялся...

41

Он приходил с киркой и открывал
дверь небольшую под крыльцом, и долго
стучал, и бормотал, и напевал,
а после жёлто-бурые осколки
на санки из дюрала нагружал
и увозил куда-то, глядя волком
из-под солдатской шапки. Как-то раз,
напившись, он... Но требует рассказ

42

введенья новых персонажей. Пара супружеская Крошкиных жила напротив кухни. Ведал муж товаром на складе вещевом. Его жена служила в Военторге. Он недаром носил свою фамилию, но жирна и высока была его Лариса Геннадиевна. Был он белобрысый

43

и лысоватый, а она, как хром навакшенный. Среди прапорщиков... Здравсте! Какие ещё прапоры? Потом, лет через десять, эта злая каста название приобретёт с душком белогвардейским. А сосед очкастый, конечно, старшиною был. Так вот, представь читатель, не спеша идет

44

в уборную Лариса. Закрывает дверь на щеколду. Ватные штаны с невольным содроганием снимает. Садится над дырою. Тишины ничто не нарушает. Испускает она струю... Но тут из глубины её за зад хватают чьи-то руки!.. И замер коридор, заслышав звуки

45

ужасные. Она кричала так,
что леденела в жилах кровь у самых
отважных офицеров, что барак
сотрясся весь, и трепетные мамы
детей к груди прижали! Вой собак
напуганных ей вторил за стенами!
И, перейдя на ультразвук, она
ворвалась в коридор. В толпе видна

46

была мне белизна такого зада,
какого больше не случилось мне
увидеть никогда... Посланцем ада,
ты угадал читатель, был во сне
обмоченный индеец Джо... Громада
Ларисиного тела по стене
ещё сползала медленно, а Крошкин,
лишь подтянув штаны её немножко,

47

схватил двустволку, вывалился в дверь
с клубами пара... Никого... Лишь вьюга
хочет в очи... Впрочем, без потерь
особенных всё обошлось — подруга
сверхсрочника пришла в себя, теперь
не помню, но, наверно, на поруки
был взят ассенизатор. Или суд
товарищеский претерпел якут.

48

А вскоре переехали мы в новый
пятиэтажный дом. Мела пурга.
Гораздо выше этажа второго
лежал сугроб. Каталась мелюзга
с его вершины. И прогноз суровый
по радио нас вовсе не пугал,
а радовал — занятия отменялись.
И иногда из школы возвращались

49

мы на армейском вездеходе. Вой
метели заглушён был мощным рёвом
бензина... А весёлый рядовой
со шнобелем горбатым и багровым,
наверно отмороженным пургой,
нас угощал в курилке и суровым
измятым «Северком», и матерком.
Благодаря ему я был знаком

50

уже тогда с Высоцким, Окуджавой
и Кукиным, и Городницким. Я
тогда любил всё это... Тощей павой
на сцену клуба выплывала, чья
уже не помню, дочка. Боже правый!
Вот наступает очередь моя —
со сцены я читаю «Коммунисты,
вперёд!»... Вещь славная... Теперь её речистый

51

почтенный автор пишет о тоске
по внучке, что скипнула в Сан-Франциско.
Ей трудно жить от деда вдалеке,
без Коктебеля, без родных и близких.
Но всё же лучше там, чем в бардаке
российском, и намного меньше риска
И больше колбасы. За это дед
клянёт Отчизну... Через столько лет

52

аплодисменты помню я... В ту пору,
чуть отрок, я пленён был навсегда
поэзией. «Суд памяти» Егора
Исаева я мог бы без труда,
не сбившись, прочитать на память. Вскоре
я к «Братской ГЭС» припал. Вот это да!
Вот это книжка!.. Впрочем, так же страстно
я полюбил С. Михалкова басни.

53

Но вредную привычку приобрел
в ту зиму я — читать на унитазе.
Казнь Разина я, помнится, прочел
как раз в подобной позе. Бедный Разин!
Как он хотел добра, и как же зол
неблагодарный люд! Ещё два раза
в восторге пиитическом прочёл
я пятистишья пламенные эти.
И начал третий. «Сколько в туалете, —

54

отцовский голос я услышал вдруг, —
сидеть ты будешь?!» Папа был уверен,
что я страдал пороком тайным. Вслух
не говорил он ничего. Растерян,
я ощущал обиду и испуг,
когда отец, в глаза мне глядя, мерно
стучал газетой по клеёнке. Два
учебных года отойдут сперва,

55

каникулы настанут — подозренья
папаши оправдаются тогда.
Постыдные и сладкие мгновенья
в дыру слепую канут без следа
в сортире под немолчное гуденье
огромной цокотухи. Без сомненья,
читатель понял, что опять А. Х.
увлёл меня на поприще греха.

56

Пора уже о школьном туалете
речь завести. Затянемся бычком
коротким от болгарской сигареты,
припрятанным искусно за бачком
на прошлой переменке. Я отпетый
уже вполне, и папа Челкашом
меня назвал в сердцах. Курить взятяжку
учу я Фильку, а потом и Сашку.

57

Да нет, конечно, не того! Того
я потерял из вида. В Подмосковье
теперь живем мы. Воин ПВО
чуть-чуть косой, но пышущий здоровьем,
глядит со стенда строго. Половой
вопрос стоит. Зовётся он любовью.
Пусть я басист в ансамбле «Альтаир»,
но автор «Незнакомки» мой кумир.

58

И вот уж выворачивает грубо
моё нутро проклятый «Солнцедар».
Платком сопливым вытирая губы,
я с пьяным удивленьем наблюдал
над унитазом в туалете клуба
боренье двух противных ниагар —
струй белопенных из трубы холодной
с кроваво-красной жижей пищеводной.

59

Прости меня, друг юности, портвейн!
Теперь мне ближе водки пламень ясный.
Читатель ждёт уж рифмы Рубинштейн,
или Эпштейн, или Бакштейн. Напрасно.
К портвейну пририфмуем мы сырок
«Волна» или копчёный сыр колбасный.
Чтоб двести грамм вобрал один глоток,
винтом раскрутим тёмный бутылёк.

60

Год 72-й. Сквозь дым пожарищ
электropоезд движется к Москве.
Горят леса, и тлеет торф. Товарищ,
ты помнишь ли? В патлатой голове
от зноя только тяжесть. Ты завалишь
экзамены, а мне поставят две
пятёрки. Я переселюсь в общагу.
А ты, Олeжка, строевому шагу

61

пойдёшь учиться следующей весной...
Лишь две из комнат — Боцмана и наша —
мужскими были. Весь этаж второй
был населён девицами — от Маши
скромнейшей до Нинельки разбитной.
И, натурально, сладострастья чашу
испил я, как сказал поэт, до дна.
Но помнится мне девушка одна.

62

Когда и где, в какой такой пустыне
её забуду? Твёрдые соски
под трикотажной кофточкою синей,
зовущейся «лапшoю», вопреки
зиме суровой крохотное мини
и на платформе сапоги-чулки.
В горячей тьме топчась под Джо Дассена,
мы тискали друг друга откровенно.

63

А после я уламывал своих
сожителей уйти до завтра. Пашка
не соглашался. Наконец одних
оставили нас. Потную рубашку
уже я скинул и, в грудях тугих
лицом зарывшись, торопливо пряжку
одной рукой отстегивал, другой
уже лаская холмик пуховой.

64

И наконец, сорвав штаны, оставшись
уже в одних носках, уже среди
девичьих ног, уже почти ворвавшись
в промежуток мрак, уже на полпути
к мятежным наслаждениям, задравши
её колени, чуя впереди,
как пишет Цвейг, пурпурную вершину
экстаза, и уже наполовину,

65

представь себе, читатель! Не суди,
читательница! Я внезапно замер,
схватил штаны и, прошептав: «Прости,
я скоро!» — изумлёнными глазами
подружки провожаемый, пути
не разбирая, стул с её трусами
и голубым бюстгальтером свалив,
дверь распахнул и выскочил, забыв

66

закрыть её, промчался коридором
пустым. Бурление адское в кишках
в любой момент немислимым позором
грозило обернуться. Этот страх
и наслаждение облегчением скорым
заставили забыть желанный трах
на время. А когда я возвратился,
кровать была пуста. Ещё курился

67

окурочек с блестящею каймой
в стакане лунном. И ещё витали
её духи. И тонкою чертой
на наволочке волос. И печали
такой, и тихой нежности такой
не знал я. И потом узнал едва ли
пять раз за восемнадцать долгих лет...
Через неделю, заглянув в буфет,

68

её я встретил. Наклонясь к подруге,
она шепнула что-то, и вдвоём
захохотали мерзко эти суки.
Насупившись, я вышел... Перейдём
теперь в казарму. Строгий храм науки
меня изгнал, а в мае военком...
Но все уже устали. На немножко
прерваться надо. Наливай, Сережка!

.....

69

Ну вот. Продолжим. Мне давалась трудно наука побеждать... Никак не мог я поначалу какать в многолюдном сортире на глазах у всех. Кусок (то бишь сержант) с улыбкой абсолютно беззлобно разглядывал толчок и говорил спокойно: «Не годится. Очко должно гореть!» И я склониться

70

был должен вновь над чертовой дырой, тереть, тереть, тереть и временами в секундный сон впадать, и, головой ударившись, опять тереть. Ручьями тёк грязный пот. И в тишине ночной я слышал, как дурными голосами деда в каптерке пели под баян «Марш дембельский». Потом они стакан

71

мне принесли: «Пей, салабон!» С улыбкой затравленную я глядел на них. «Не бойся, пей!» В моей ладони липкой стакан дрожал. Таких напитков злых я не пивал до этого. И зыбко всё сделалось, всё поплыло в моих глазах сонливых к вящему веселью дедов кирных. На мокрый пол присел я

72

и отрубился... Надобно сказать, что кроме иерархии, с которой четвёртый год сражается печать, но победит, я думаю, нескоро, среди каждого призыва угадать нетрудно и вассалов, и сеньоров, и смердов, т. е. есть среди салаг совсем уж бедолаги, и черпак

73

не равен черпаку, и даже деду хвост поджимать приходится, когда в неуставных китайских полукедах и трениках является беда к нам в строй, как беззаконная комета, из самоволки, то есть вся среда казарменная сплошь иерархична. Что, в сущности, удобно и привычно

74

для нас, питомцев ленинской мечты. Среди салаг был всех бесправней Жаров Петруша. Две коронки золотых дебильная улыбка обнажала. На жирных ручках и лице следы каких-то постоянных язв. Пожалуй, он не глупее был, чем Ванька Шпак, иль Демьянчук, иль Масич, и никак

75

уж не тупее Лёши Пятакова,
но он был ростом меньше всех, и толст,
и грязен фантастически. Такого
казарма не прощает. Рыхлый торс
полустарушечий и полуподростковый
и на плечах какой-то рыжий ворс
в предбаннике я вижу пред собою
с гадливой и безвыходной тоскою.

76

Он плавать не умел. Когда старлей
Воронин нас привёл на пляж солдатский,
он в маечке застиранной своей
остался на песке сидеть в дурацкой
и трогательной позе. Солоней
воды морской был среднеазиатской
озерной влаги ласковый прибой.
И даже чайки вились над волной.

77

А из дедов крутейшим был дед Жора,
фамилии не помню. Невысок
и, в общем, несилен он был, но взора
весёлого и наглого не мог
никто спокойно выдержать, и свору
мятежных черпаков один плевок
сквозь стиснутые зубы образумить
сумел однажды ночью. Надо думать,

78

он на гражданке сел. А на плече
сухом и загорелом деда Жоры
наколочка синела — нимб лучей
над женской головой. «Ты моё горе», —
гласила надпись. Вместо кирзачей
он офицерский хром носил. Майора
Гладкова пышнотелую жену
он совратил. И не её одну.

79

Я был тогда и вправду салабоном.
В окне бытовки пламенел рассвет.
Степная пыль кружилась над бетоном.
А вечером был залит туалет
и умывалка золотом червонным.
Всё более червонным. Сколько лет
сияет этот кафель! Как красивы
сантехники закатной переливы!..

80

Однажды я услышал: «Эй, боец!
Не запаadlo, слетай-ка за бумажкой
для дедушки!» — и понял, что крантец
мне настаёт. Дед Жора, тужась тяжко,
сидел с ремнем на шее. Я не лжец
и не хвостун — как все салаги, с фляжкой
в столовую я бегал для дедов,
и койки заправлял, и был готов

81

по ГТС ответить за храпящих
сержантов на дежурстве. Но сейчас
я понял, что нельзя, что стыд палящий
не даст уснуть, и что на этот раз
не отвертеться — выбор настоящий
я должен сделать. «Слушай, Фантомас,
(так звал он всех салаг) умчался мухой!
Считаю до одиннадцати!» Глухо

82

стучало сердце. Медленно прошёл
я в Ленинскую комнату. Газету
я вырвал из подшивки. Как тяжёл
был путь обратный. И минуту эту
нельзя мне забывать. И тут вошёл
в казарму Петя. И, схвативши Петю
за шиворот, я заорал: «Бегом!
Отнес бумагу Жоре!» — и пинком

83

придал я Пете ускоренье... Страшно
и стыдно вспоминать, но в этот миг
я счастлив был. И весь багаж бумажный,
все сотни благородных, умных книг
не помогли мне поступить отважно
и благородно. Верный ученик
блатного мира паханов кремлёвских,
я стал противен сам себе. Буковский

84

который раз садился за меня...
Но речь не обо мне. Поинтересней
предметы есть, чем потная возня
нечистой совести, чем жалобные песни
советского интеллигента, дня
не могущего провести, хоть тресни,
без строчки. В туалетах, например,
рисунки! Сколько стилей и манер

85

разнообразных — от условных палок
и треугольников до откровенных поз
совокупленья. Хохлома, и Палех,
и Гжель, и этот, как его, поднос
конечно же красивее беспалых,
безглазых этих пар. И всё же нос
не стоит воротить — быть может, эти
картинки приоткроют нам секреты

86

искусства настоящего. Вполне
возможно, механизм один и тот же...
А надписи? Нет места на стене
свободного. И, Господи мой Боже,
чего тут только нет. Неловко мне
воссоздавать их. Буду осторожен.
Квартирных объявлений бойкий слог
там очень популярен — номерок

87

даётся телефонный и глаголы
в первом лице, в единственном числе
хочу, сосу, даю. И подпись — Оля
или Марина. В молодом козле,
выпускнике солнечногорской школы,
играло ретивое, на челе
пот выступал, я помню, от волнения.
Хоть я не верил в эти объявления.

88

Встречались и похабные стишки
безвестных подражателей Баркова.
И зачастую даже потолки
являли взору матерное слово:
всем тем, кто ниже ростом, шутники
минетом угрожали. Но сурово
какой-то резонёр грозил поэту,
который пишет здесь, а не в газету!..

89

Вот, в сущности, и все. Давно пора
мне закругляться. Хоть ещё немало
в мозгу моём подобного добра —
и липкий кафель Курского вокзала,
и на простынке смертного одра
носатой утки белизна, и кала
анализ в коробке, и турникет
в кооперативном платном нужнике.

90

И как сияла твердь над головою,
когда мочился ночью на дворе,
как в электричке мечешься порою
и вынужден сойти, как в январе
снег разукрашен яркою мочою,
как злая хлорка щиплется в ноздре,
как странно надпись «Требуйте салфетки»
читать в сортире грязном, как конфетки

91

из всякого дерьма творит поэт.
Пускай толпа бессмысленно колеблет
его треножник. Право, дела нет
ему ни до чего. Он чутко внемлет
веленьям — но кого? Откуда свет
такой струится? И поэт объемлет
буквально всё, и первую любовь
ко всякой дряни ощущает вновь.

92

«Гармония есть цель его». Цитатой
такой я завершаю опус мой.
Или ещё одной — из Цинцинната.
Цитирую по памяти — «Земной...
нет, мировой... всей мировой проклятой...
всей немоте проклятой мировой
назло сказать... нет, высказаться... Точно
не помню, к сожаленью... Но построчно

93

когда бы заплатили — хоть по два
рубля — я получил бы куш солидный.
Уже семь сотен строк. Пожалуй, хва.
Кончаю. Перечеть немного стыдно.
Мной искажалась строгая строфа
не раз. Знаток просодии ехидный
заметит незаконную стопу
шестую в ямбах пятистопных. Пусть

94

простит Гандлевский рифмы. Как попало
я рифмовал опять. Сказать ещё?
И тема не нова — у Марциала
смотри, Аристофана и ещё,
наверно, у Менандра. И навалом
у Свифта, у Рабле... Кого ещё
припомнить? У Гюго канализация
парижская дана. Цивилизацией

95

ватерклозетов Запад обозвал,
по-моему, Леонтьев. Пушкин тоже
об афедроне царском написал
и о хвостовской оде. И Алёша
в трактире ужасался и вздыхал,
когда Иван, сумняшеса ничтоже,
его вводил в соблазн, ведя рассказ
о девочке в отхожем месте. Вас,

96

быть может, удивит, но Горький окал
об испражнении революционных толп
в фарфор... Пропустим Белого и Блока...
А вот Олеша сравнивает столп
библейский с кучкой кала невысокой.
Таксист из русских деликатен столь,
что воду не спустил, и злость душила
бессильная эстета-педофила.

97

И Вознесенский пишет, что душа —
санузел совмещённый... Ну, не знаю.
Возможно... Я хочу сказать — прощай,
читатель. Я на этом умолкаю.
Прощай, читатель, помнись обещаю!..
Нет! Погоди немного! Заклинаю,
ещё немного! Вспомнил я сейчас
о том, что иногда не в унитаза

98

урина проливается. О влажных
простынках я ни слова не сказал.
Ну согласишься, что это крайне важно!..
Однажды летней ночью я искал
в готическом дворце многоэтажном
уборную. И вот нашёл. И стал
спокойно писать. И проснулся тут же
во мгле передраассветной, в теплой луже.

99

Я в пятый класс уже переходил.
Случившееся катастрофой было.
Я тихо встал и простыню скрутил.
На цыпочках пошёл. Что было силы
под рукомойником я выводил
пятно. Меж тем светало. И пробили
часы — не помню сколько. Этот звон
таинственным мне показался. Сон,

100

казалось, длился. Потихоньку вышел
я из террасы. Странно освещён
был призрачный наш двор (смотрите выше
подробнее о нем). И небосклон
уже был светел над покатою крышей
сортирной. И, мною пробуждён,
потягиваясь, вышел из беседки
коротконогий пёс. Качнулись ветки

101

под птицею беззвучной. На песке
следы сандалий... Улица пустынна
была в тот час. Лишь где-то вдалеке
протарахтела ранняя машина...
На пустыре, спускавшемся к реке,
я встретил солнце. Точно посередине
пролёта мостового, над рекой
зажглось и пролилось, и — Боже мой! —

102

пурпурные вершины предо мною
воздвиглись! И младенческая грудь
таким восторгом и такой тоскою
стеснилась! И какой-то долгий путь
открылся, звал, и плыло над рекою,
в реке дробилось, и какой-нибудь
искал я выход, что-то надо было
поделать с этим! И, пока светило

103

огромное всходило, затопив,
раславив мост над речкой, я старался
впервые в жизни уловить мотив,
ещё без слов, ещё невинный, клялся
я так и жить, вот так, не осквернив
ни капельки из этого!.. Менялся
цвет облаков немислимых. Стоял
пацан босой, и ветер оведал

104

его лицо, трепал тусы и челку...
Нет. Всё равно. Бессмысленно. Прощай.
Сейчас я кончу, прохрипев без толку:
«Поэзия!» И, в общем, жизнь прошла,
верней, проходит. Погляди сквозь щёлку,
поплачь, посмейся — вот и все дела.
Вода смывает жалкие листочки.
И для видений тоже нет отсрочки —

105

лирический герой встает с толчка,
но автор удаляется. Ни строчки
уже не выжмешь. И течёт река
предутренняя. И поставить точку
давно пора. И, в общем, жизнь легка,
как пух, как пыль в луче. И нет отсрочки.
Прощай, А. Х., прощай, мой бедный друг.
Мне страшно замолчать. Мне страшно вдруг

106

быть поглощённым этой немотою.
И ветхий Пушкин падает из рук.
И Бейбутов тяжёлою волною
уже накрыт. Затих последний звук.
Безмолвное светило над рекою
встаёт. И веет ветер. И вокруг
нет ни души. Один лишь пёс блохастый
мне тычется в ладонь слюнявой пастью.

1991

Из цикла
«ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА»

1. Парафразис

Блажен, кто видит и внимает!
Хотя он тоже умирает.
И ничего не понимает,
и, как осенний лист, дрожит!
Он Жириновского страшится,
и может скурвиться и спиться,
и, по рассказам очевидцев,
подчас имеет бледный вид.
Блажен озлобленный пиит.

Незлобивый блажен тем паче!
В террасе с тёщею судача,
над вымыслами чуть не плача,
блажен — хотя и неумён.
Вон ива над рекой клонится,
а вон химкомбинат дымится,
и все физические лица
блаженны — всяк на свой фасон,
хотя предел им положён.

Блажен, кто сонного ребенка
укрыв, целует потихоньку,
полощет, вешает пелёнки
и вскакивает в темноте,
дыханья детского не слыша,
и в ужасе подходит ближе

и слышит, слава Богу, слышит
сопенье! И блаженны те
и эти вот. И те, те, те.

А может быть, ещё блаженней,
кто после семьяизверженья
во мгле глядит на профиль женин
и курит. И блажен стократ
муж, не входящий ни в советы,
ни в ССП, ни в комитеты,
не вызываемый при этом
в нарсуд или военкомат.
Блажен и ты, умерший брат.

Блаженны дядьки после пьянки,
играющие в футбольянку.
Блажен пацан, везущий санки
на горку и летящий вниз.
Блажен мужик с подбитым глазом —
легко отделался, зараза!
Поэтому и маршал Язов
блажен, и патриот Алкснис
(ему же рифма — Бурбулис).

Блажен закончивший прополку,
блажен глазеющий без толку
в окно на «Жигули» и «Волги»,
блажен, на утренней заре,
поёживаясь и зевая,
вотще взыскующий трамвая,
блажен, кто дембельнулся в мае,
кто дембельнулся в ноябре!
Блажен и зверь в своей норе.

Блажен вкусивший рюмку водки,
закусывающий селёдкой,
притискивающий молодку.
Кино, вино и домино —
блаженство тоже! Шуры-муры,
затеянные нами сдуру,
дают в итоге Шуру, Муру,
а это — чудо, и оно
зовётся благом всё равно!

А малосольный огуречик?
А песня, слышная далече?
А эти очи, перси, плечи?
А этот зад? А этот свет,
сквозь туч пробившийся? А эти,
горящие в потоке света,
стекляшки старого бужета?
А этот комплексный обед?
Ужели мало? Вовсе нет!

Блаженств исполнен мир гремячий.
Почто ж гнездится страх ползучий,
и ненависть клубится тучей
в душе несмысленной твоей?
И что ты рёк в сердцах, безумец?
Однообразно, словно зуммер,
гудит привычная угрюмость.
Взгляни на птиц и на детей!
Взгляни на лилии полей.

Твой краткий век почти что прожит
Прошедшее томит и гложет.
Кто жил и мыслил, тот не может
в душе не презирать себя.

Претензий с каждым годом меньше.
Долги растут. Детей и женщин
учитывай. Еще блаженше
ты станешь, боль и стыд стерпя,
гордыню в сердце истребя.

Найди же мужество и мудрость,
чтоб написать про это утро,
про очи женщины-лахудры,
распахнутый её халат,
про свет и шум в окне раскрытом,
бумагой мокрою промытом,
про Джойса на столе накрытом
(и надо бы — да лень читать).
Блажен, кто может не вставать.

Водопровод — блаженство тоже!
Упругий душ утюжит кожу.
Клокочет чайник. Ну так что же?
Продолжим? — Ласковый Зефир
листву младую чуть колышет.
Феб светозарный с неба пышет.
Блажен, кто видит, слышит, дышит,
счастлив, кто посетил сей мир!

Грядёт чума. Готовьте пир.

2

Столь светлая — аж золотая! —
весенняя зелень сквозит.
Вверху облака пролетают,
а снизу водичка блестит.

Направо, налево — деревья.
Вот тут — ваш покорный слуга.
Он смотрит направо, налево
и вверх, где плывут облака.

Плывите! Я тоже поплыл бы,
коль был бы полегче чуть-чуть,
высокому ветру открыл бы
уже поседевшую грудь!

И так вот — спокойный и чистый,
лениво вертя головой,
над этой землёй золотистой...
Такой вот, простите, хернёй,

такую вот пошлостью вешней,
и мусорной талой водой,
и дуростью клейкой и нежной
наполнен мой мозг головной!

Спинной же сигналил о том, что
кирзовый ботинок протёк,
что сладко, столь сладко — аж тошно,
аж страшно за этот денёк.

Август 1993

3

Отцвела-цвела черёмуха-черёмуха,
расцвела, ой, расцвела-цвела сирень!
У Небесного Царя мы только олухи.
Ах, лень-матушка, залётка моя лень.

По поднёбесью шустришь, моя касаточка,
в тёплом омуте, ой, рыбка ты моя,
змейка тихонькая в травушке-муравушке,
лень-бесстыдница, заступница моя.

Ой, сирени мои, яблони-черёмухи,
ой ты дольче фар ниентишко моё!
Ой, чего? — да ничего — да ничегошеньки
ну ей-богу, право слово, ничего!

Зелень-мелень, спирт «Рояль» разбавлен правильно
Осы с мухами кружатся над столом.
Владислав Фелицианович, ну правда же,
ну ей-богу же, вторая соколом!

Как я бу... ой, и вправду как же буду я
отвечать и платить за это всё?
Ой сирень, ой ты счастьешко прибудное,
лоботрясное, ясное моё.

4

Не умничай, не важничай!
Ты сам-то кто такой?
Вон облака вальяжные
проходят над тобой.
Проходят тучи синие
над головой твоей.
А ты-то кто? — Вот именно!
Расслабься, дуралей!

Не важничай, не нагличай!
Чего тебе ещё?
Пивко в литровой баночке

с солёненьким лещом,
с лучом косым сквозь стёклышко,
сквозь пыльную листву.
Уймись, моё ты солнышко!
Ой, сглазишь — тьфу-тьфу-тьфу!

Не нагличай, не подличай!
Гляди, разуй глаза!
Ах, сколько тайной горечи
в спокойных небесах!
С какой издёвкой тихою
они глядят на нас.
А ты всё небу тыкаешь!
Заткнулся б хоть сейчас!

Не подличай, не жадничай!
Ишь цаца ты какой!..
Блестит платформа дачная
под летнею грозой.
И с голубой каёмочкой
стоит весь Божий мир,
опасный и беспомощный,
замызганный до дыр

такими вот — не ёрничай! —
такими вот, как ты!..
Дождись июльской полночью
малюсенькой звезды.
Текут лучи бесшумные
миллионы лет назад.
Они велят не умничать.
И хныкать не велят.

Июль 1993

Слишком уж хочется жить. Чересчур
хочется жить. Стрекоза голубая,
четырёхкрылая, снова дрожит
над отраженьем своим... Я не знаю...

Пахнет шиповник. Трещит мотоцикл.
А над Перхуровым синие тучи.
А в магазин завезли дефицит.
Слишком уж хочется. Было бы лучше,

было бы проще, наверно, закрыть
эти глаза, задремать потихоньку,
правила неуловимой игры
не выяснять, не кидаться вдогонку

за пустяками летучими, вслед
за мимолетным намёком на что-то,
не проверять эту мелочь на свет...
Завтра суббота. О, как же охота

жить!.. Трясогузка трепещет хвостом.
Вновь опоздал Воскресенский автобус.
Спорит Гогущин с соседом о том,
прав или нет Хасбулатов. Попробуй

свыкнуться с мыслью, что ты никогда,
о, никогда!.. Приближается ливень.
В речке рябит и темнеет вода.
Ивы шумят. И жена торопливо

с белой верёвки снимает бельё.
Лист покачнулся под каплею тяжкой.
Как же мне вынести счастье моё?
С кем там ругается Лаптева Машка?

Осень 1993

6. Вечернее размышление

На самом деле всё гораздо проще.
Не так ли, Вольфганг? Лучше помолчим.
Вон филомела горлышко полощет
в сирени за штaketником моим.

И не в сирени даже, а в синели,
люющей благовонья в чуткий нос.
Гораздо всё сложнее на самом деле.
Утих совхоз. Пропел электровоз

на Шиферной — томительно и странно,
как бы прощаясь навсегда. Поверь,
всё замерло во мгле благоуханной,
уже не вспыхнет огонь, не скрипнет дверь.

И может, радость наша недалече
и бродит одиноко меж теней.
На самом деле всё гораздо легче,
короче вздоха, воздуха нежней!

А там вдали химкомбинат известный
дымит каким-то ядом в три трубы.
Он страшен и красив во мгле окрестной,
но тоже общей не уйдёт судьбы,

как ты да я. И также славит Бога
лягушек хор в темнеющем пруду.
Не много ль это всё? Не слишком ль много
в конце концов имеется в виду?

Неверно всё. Да я и сам неверен.
То так, то этак, то вообще никак.
Всё зыблется. Но вот что характерно —
и зверь, и злак, и человек всяк,

являясь загадкой и символом,
на самом деле дышит и живёт,
как иступлённо просится на волю,
как лезет в душу и к окошку льнёт!

Как пахнет! Как шумит! И как мозолит
глаза! Как осязается перстом,
попавшим в небо! Вон он, дядя Коля,
а вон Трофим Егорович с ведром!

А вон — звезда! А вон — зарёй вечерней
зажжён парник!.. Земля ещё тепла.
Но зыблется уже во мгле неверной,
над гладью вод колыхнется ветла.

На самом деле простота чревата,
а сложность беззащитна и чиста,
и на закате дым химкомбината
подскажет нам, что значит Красота.

Неверно всё. Красиво всё. Похвально
почти что всё. Усталая душа
сачкует безнадёжно и нахально,
шалеет и смакует не спеша.

Мерцающей уже покрыты плёнкой
растений нежных грядки до утра.
И мышь беготня за стенкой тонкой.
И ветра гул. И пенье комара.

Зажжём же свет. Водой холодной тело
гудящее обмоем кое-как...
Но так ли это всё на самом деле?
И что же всё же делать, если так?

1995

7

Чуть правее луны загорелась звезда.
Чуть правее и выше луны.
Грузовик прогудел посреди тишины
и пропал в тишине навсегда.
И в чешуйках пруда
раздробилась звезда.
И ничто не умрёт никогда.

То ли Фет, то ли Блок, то ль Исаев Егор —
просто ночь над деревней стоит.
Просто ветер тихонько листья шевелит.
Просто так. Так о чём говорить?
И с каких это пор
этот лепет и вздор
увлажняют насмешливый взор?

Что́ ты, сердце? — Да так как-то всё, ничего. —
Ничего, так не надо щемить!

Но, как в юности ранней вопрос половой,
что-то важное надо решить.
То ли всё позабыть,
то ли всё сохранить
не пролить, не отдать ничего.

То ль куда-то уйти, то ль остаться навек,
то ли лопнуть от счастья и слёз,
петь, что вижу, как из анекдота чучмек,
нюхать ветер ночной во весь нос.
И всего-то нужны
две на палке струны.
Сформулируй же точно вопрос!

Скажем так — почему это всё, почему
это всё? Ну за что же, зачем?
Есть ли Бог? Да не в этом ведь дело совсем!
Он-то есть, но, видать по всему,
Он не то чтобы нем,
Он доступен не всем,
Я его никогда не пойму.

Просто ивы красивы, и тополь высок,
высотой почти до звезды.
Просто пахнут и пахнут ночные цветы.
Просто жизнь продолжается впрок.
Просто дал я зарок
пред лицом пустоты...
Дайте срок, только дайте мне срок.

Август 1993

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы
 При появлении Аврориных лучей,
 Но не отдаст тебе багряная денница
 Сияния протекших дней...

К. Н. Батюшков

Словно маньяк с косою неумолимой,
 проходит Время. Шелестят года.
 Казалось бы — любовь не струйка дыма,
 но и она проходит навсегда.

Из жареной курятины когда-то
 любил я ножки, ножки лишь одне!
 И что ж? Промчались годы без возврата,
 и ножки эти безразличны мне.

Я мясо белое теперь люблю. Абрамыч,
 увы, был прав: всевидящей судьбе
 смешны обеты смертных и программы,
 увы, не властны мы в самих себе!

Опять-таки портвейн! Иль, скажем, пиво!
 Где ж та любовь? Чюрлёнис где и Блок?
 Года проходят тяжело и спесиво,
 как оккупанта кованый сапог.

И нет как нет былых очарований!
 Аукаюсь. Зима катит в глаза.
 Жлоб-муравей готовит речь заране.
 Но, в сущности, он сам как стрекоза.

Всё-всё пройдет. И мне уж скоро сорок.
 А толку-то? Чего ж я приобрёл?

Из года в год выдумывая порох,
я вновь «Орлёнок» этот изобрел!

И всё понятней строки Манделъштама
про холодок и тема... Ой-ой-ой!..
А в зеркале — ну вылитый, ну прямо
не знаю кто. Но сильно испитой.

И всё быстрее года бегут, мелькают,
как электричка встречная шумят.
Всё реже однокурсники икают.
Я всё забыл. Никто не виноват.

Я силюсь вспомнить. Так же вот когда-то
грядущее я силился узнать.
И также, Боже мой, безрезультатно.
Я всё забыл. Ни зги не разобрать.

Одышка громче. Мускул смехотворен.
Прошло, проходит и навек пройдёт.
Безумного Эдгара гадкий ворон
на бюстик Ильича присел и ждёт.

Сменился буйный кайф стихосложенья
похмельем с кислым привкусом вины.
И половой любви телодвиженья
ещё желанны, но уже смешны

чуть-чуть. Чуть-чуть грустны. Уже не спорить
с противником, а не иметь его
хотелось бы, и, очевидно, вскоре
уже не будет больше ничего.

Всё-всё пройдет, как пали Рим и Троя,
как Феликс — уж на что железным был!

Не прикасайся. Не буди былое.
Там ржа и смрад, там тлен, и прах, и пыль!..

Лежу, пишу. Проходит время. В спину
четвертый раз впивается комар.
Опять свалился пепел на перину.
Вот так вот и случается пожар.

Пора уж спать. Морфеевы объятия
так сладостны. О сон, коллега мой!
Душа тоскою смертною объята!
Утешь меня. Побудь хоть ты со мной.

Спи-спи. Всё-всё пройдёт. Труда не стоит.
Всё-всё пройдёт. Ты спи. Нормально всё.
Не обращай вниманья, всё пустое.
Всё правильно. Ты спи. Чего тебе ещё?..

.....

Ты пробуждаешься, о Байя... С добрым утром!
Ещё роса не обратилась в пар,
и облака сияют перламутром,
и спит на тюле вздувшийся комар,
а клён уж полон пением немудрым...

Проходит всё — и хмель, и перегар.
Но пьяных баек жар не угасает!

Июль 1993

Когда фонарь пристанционный
клён близлежащий освещает
и черноту усугубляет
крон отдалённых, ив склонённых,
а те подчёркивают светлость
закатной половины неба,
оно ж неожиданно и нелепо
воспоминанье пробуждает
о том, что в полночь вот такую
назад лет двадцать иль пятнадцать,
когда мне было восемнадцать,
нет, двадцать, я любил другую,
но свет вот так же сочетался,
и так же точно я старался
фиксировать тоску и счастье,
так вот, когда фонарь на рельсы
наводит блеск, и семафоры
горят, и мимо поезд скорый
«Ташкент — Москва» проносит окна,
и спичка, осветив ладони,
дугу прочертит над перроном
и канет в темноте июльской,
и хочется обнять, и плакать,
и кануть, словно эта спичка,
плевать, что эта электричка
последняя, обнять, и плакать,
и в тёмные луга и рощи
бежать, рюкзак суровой тёщи
оставив на скамейке, — это
пример использования света
в неблагоприятных в общем целях

воздействия на состояние
психическое, а быть может,
психофизическое даже
реципиента.

Август 1996

11

На слова, по-моему, Кирсанова
песня композитора Тухманова
«Летние дожди».

Помнишь? — Мне от них как будто лучше...
та-та-та-та... радуги и тучи
будто та-та-та-та впереди.

Я припомнил это, наблюдая,
как вода струится молодая.
Дождик-дождик, не переставай!
Лейся на лысеющее темя,
утверждай, что мне ещё не время,
пот и похоть начисто смывай!

Ведь не только мне как будто лучше,
а, к примеру, ивушке плакучей
и цветной капусте, например.
Вот он дождь — быть может, и кислотный.
Радуюсь, на блестящие сотки
смотрит из окна пенсионер.

Вот и солнце между туч красивых,
вот буксует в луже чья-то «Нива»,
вот и всё, ты только погоди!
Покури спокойно на крылечке,

посмотри — замри, моё сердечко,
вдруг и впрямь та-та-та впереди!

Вот и всё, что я хотел напомнить.
Вот и всё, что я хотел исполнить.
Радуга над Шиферной висит!
Развернулась радуга Завета,
преломилось горестное лето.
Дальний гром с душою говорит.

1995

12

Меж тем отцвели хризантемы, а также
пурпурный закат догорел
за химкомбинатом, мой ангел. Приляг же
чтоб я тебе шёпотом спел.

Не стану я лаской тебя огневою,
мой друг, обжигать, утомлять,
ведь в сердце отжившем моём всё бывшее
опять копошится, опять!

Я тоже в часы одинокие ночи
люблю, грешным делом, прилечь.
Но слышу не речи и вижу не очи,
не плечи в сиянии свеч.

Я вижу курилку, каптерку, бытовку,
я слышу команду «Подъем!»,
политподготовку и физподготовку,
и дембельский алый альбом.

Столовку, перловку, спецовку, ментовку,
маёвку в районном ДК,
стыковку, фарцовку и командировку,
«Самтрест», и «Рот Фронт», и «Дукат»!

И в этой-то теме — и личной, и мелкой! —
кручусь я опять и опять!
Кручусь поэтической Белкой и Стрелкой,
покуда сограждане спят.

Кручусь Терешковой, «Союз-Аполлоном»
над круглой советской землей,
с последним на «Русскую водку» талоном
кружусь над забытой страной!

«Чому я ни сокил?» — поют в Шепетовке,
плывет «Сулико» над Курой,
и пляшут чеченцы на пальчиках ловко,
и слёзы в глазах Родниной!

Великая, Малая, Белая Мама
и прочая Родина-Мать!
Теперь-то, наверно, не имешь ты сраму,
а я продолжаю имать.

Здравши штаны, выбираю я пепси,
но в сердце — «Дюшес» и «Ситро»,
пивнуха у фабрики имени Лепсе,
«Агдам» под конфетку «Цитрон»!

Люблю ли я это? Не знаю. Конечно.
Конечно же нет! Но опять
лиризм кавээновский и кагэбэшный
туманит слезою мой взгляд!

И с глупой улыбкой над алым альбомом
мурлычу Шаинского я.
Чому ж Чип и Дэйл не спешат мне на помощь,
без сахара «Орбит» жуя?

Чому ж я ни сокил? Тому ж я не сокол,
что каркаю ночь напролёт,
что плачу и прячусь от бури высокой...
А впрочем, и это пройдёт.

Тогда я спою тебе, ангел мой бедный,
о том, как лепечет листва,
как пахнет шиповник во мгле предрассветной
как ветхие гаснут слова,

как всё забывается, всё затихает,
как чахнет пурпурный закат,
как личная жизнь не спеша протекает
и не обернётся назад.

1995

13

Читатель, прочти вот про это —
про то, что кончается лето,
что я нехорош и немолод,
что больше мне нравится город,
хоть здесь и гораздо красивей,
что дремлют плакучие ивы,
что вновь магазин обокрали,
а вора отыщут едва ли,
что не уродилась картошка,
что я умирал понарошку,

но вновь как ни в чём не бывало
живу, не смущаясь нимало,
что надо бы мне не лениться,
что на двадцать третьей странице
забыт Жюмини и заброшен,
что скоро московская осень
опять будет ныть и канючить
со мной в унисон, что плакучий
я стал, наподобие ивы,
что мне без тебя сиротливо,
читатель ты мой просвещённый,
и что на вопрос твой резонный:
«А на хрен читать мне про это?» —
ответа по-прежнему нету.

Август 1996

14

В окне такое солнце и такой
листья, еще не тронутой, струенье,
что кажется апрельским воскресеньем
сентябрьский понедельник городской.

Но в форточку открытую течёт
великоросской осени дыханье.
Пронизан лёгким светом расставанья
совокупленья забродивший мёд.

Спина моя прохладой залита.
Твои колени поднятые — тоже.
И пух золотой на загорелой коже,
и сквозь ветвей лазури пустота.

И тополь наклоняется к окну
и, как подросток, дышит и трепещет,
и видит на полу мужские вещи,
и смятую постель, и белизну

вздымающихся ягодиц — меж гладких,
всё выше поднимающихся ног...
Окурка позабытого дымок
синеет и уходит без остатка

под потолок и в форточку — туда,
куда ты смотришь, но уже не видишь.
Конечностями стройными обвитый,
я тоже пропадаю без следа...

Застыть бы так — в прохладном янтаре,
в подруге нежной, в чистом сентябре,
губами сжав колючую серёжку.
Но жар растёт в низовьях живота.
И этот полдень канет навсегда.
Ещё чуть-чуть. Ещё совсем немножко.

1995

15. Вокализ

И вот мы вновь поём про осень.
И вот мы вновь поём и пляшем
на остывающей земле.
Невинны и простоволосы,
мы хрупкими руками машем,
неразличимы лица наши
в золотой передзакатной мгле.

Подходят юные морозы
и смотрят ясными глазами,
и мы не понимаем сами,
мы просто стынем и поём,
мы просто так поём про осень
сливаясь с зыбкими тенями,
мы просто гибнем и живём.

И бродим тихими лесами.
И медленные кружат птицы.
А время замерло и длится,
и луч сквозь тучи тянет к нам.
Неразличимы наши лица
под гаснущими небесами.
И иней на твоих ресницах,
и тени по твоим стопам.

А время замерло и длится,
вершится осени круженье,
и льдинки под ногой звенят.
Струятся меж деревьев тени,
и звёзды стынют на ресницах,
стихает медленное пенье
и возвращается назад.

И юной смерти приближенье
мы чувствуем и понимаем
и руки хрупкие вздымаем,
ища подругу средь теней,
ища в тумане отраженье,
лесами тихими блуждаем,
и длится пенье и круженье,
и звёзды меркнут меж ветвей.

Мы пляшем в темноте осенней,
а время зыбкое клубится,
струятся медленные тени,
смолкают нежные уста.
И меркнут звёзды, никнут лица,
безмолвные кружатся птицы.
Шагов не слышно в отдалении.
На льду не отыскать следа.

1995

16. Романс

Тут у берега рябь небольшая.
Разноцветные листья гниют.
Полусмятая банка пивная
оживляет безжизненный пруд.

Утки-селезни в тёплые страны
улетели. И юность прошла.
На заре постаренья туманной
ты свои вспоминаешь дела.

Стыдно. Впрочем, не так чтобы очень.
Пусто. Пасмурно. Поздно уже.
Мокнет тридцать девятая осень.
Где ж твой свет на восьмом этаже?

Вот итог. Вот изжога и сода.
Первой тётци припомни слова:
«Это жизнь!» Это жизнь. Так чего ты
ждёшь, садовая ты голова?

Это жизнь. Это трезвость похмелья.
Самоварного золота дни.
Как неряшливо и неумело
ты стареешь в осенней тени.

Не кривись — это вечная тема,
поцелуя прощального чмок.
Это жизнь, дурачок, то есть время,
то есть, в сущности, смерть, дурачок.

Это жизнь твоя, как на ладони,
так пуста, так легка и грязна.
Не готова уже к обороне
и к труду равнодушна она.

И один лишь вопрос настоящий:
с чем сравнить нас — с опавшей листвой
или всё-таки с уткой, летящей
в тёплый край из юдоли родной?

1994

17

Осень настала. Холодно стало.
И в соответствии с этой листвой
ёкнуло сердце, сердце устало.
Нету свободы — но вот он, покой!

Вот он! Рукою подать и коснёшься
древних туманов, травы и воды.
И охолонешь. И не шелохнёшься.
И не поймёшь, далеко ль до беды.

Осень ты осень, моя золотая!
Что бы такого сказать о тебе?
Клён облетает. Ворона летает.
Мокрый окурок висит на губе.

Как там в заметках фенолога? — птицы
в тёплые страны, в берлогу медведь,
в Болдино Пушкин. И мне не сидится.
Всё бы мне ныть, и бродить, и глядеть.

Так вот и скажем — в осеннем убранстве
очень красивы поля и леса!
Дачник садится в общественный транспорт
и уезжает. И стынет слеза.

Бродит грибник за дарами природы.
Акционерный гуляет колхоз.
Вот и настала плохая погода.
Сердце устало, и хлюпает нос.

Так и запишем — неброской красою
радует глаз Воскресенский район,
грязью густою, парчой золотою
и пустотой до скончанья времен.

Осень ты осень, пора листопада.
Как это там — терема, Хохлома...
Слабое сердце лепечет: «Не надо» —
«Надо, лапуля, подумай сама».

Вот уж летят перелётные птицы,
вот уж Гандлевский сажает чеснок.
Осень. Пора воротиться, проститься.
Плакать пора и сморкаться в платок.

Стелется дым. В среднерусских просторах
я под дождём и под ветром бреду.
Видно, прощаюсь с какой-то Матёрой
или какого-то знаменья жду.

Слабое сердце зарাপортовалось,
забастовало оно, завралось.
Вот и осталась мне самая малость.
Так уж сложилось, вот так повелось.

Что тут поделаешь — холодно стало.
Скворушка машет прощальным крылом.
Я ж ни о чем не жалею нимало.
Дело не в этом. И речь не о том.

Октябрь 1993

18

От благодарности и страха
совсем свихнулася душа,
над этим драгоценным прахом
не двигаясь и не дыша.

Над драгоценным этим миром,
над рухлядью и торжеством,
над этим мирозданьем сирым
дрожу, как старый скопидом.

Гарантий нет. Брюллов свидетель.
В любой момент погаснет свет,
порвутся радужные сети,
прервётся шествие планет.

Пока ещё сей шарик нежный
лежит за пазухой Христа,
но эти ризы рвёт прилежно
и жадно делит сволота.

В любой момент задует ветер
сию дрожащую свечу,
сияние вишнёвых веток,
и яблоню, и алычу,

протуберанцев свистопляску,
совокупления поток,
и у Гогушиных в терраске
погаснет слабый огонёк!

Погаснет мозг. Погаснут очи.
Погаснет явский «Беломор».
Блистание полярной ночи и
луга Бежина костёр.

Покамест полон мир лучами
и неустойчивым теплом,
прикрой ладошкой это пламя,
согрей дыханьем этот дом!

Не отклоняйся, стой прямее,
а то нарушится баланс,
и хрустнет под ногой твоею
сей Божий мир, сей тонкий наст,

а то нарушишь равновесье
и рухнет в бездны дивный шар!
Держись, душа, гремучей смесью
блаженств и ужасов дыша.

Август 1993

Чайник кипит. Телик гудит.
Так незаметно и жизнь пролетит.

Жизнь пролетит, и приблизится то,
что атеист называет Ничто,

что Баратынский не хочет назвать
дочерью тьмы — ибо кто тогда мать?

Выкипит чайник. Окислится медь.
Дымом взовьётся бетонная твердь.

Дымом развеются стол и кровать,
эти обои и эта тетрадь.

Так что покуда чаёвничай, друг...
Время подумать, да всё недосуг.

Время подумать уже о душе,
а о другом поздновато уже.

Думать, лежать в темноте. Вспоминать.
Только не врать. Если б только не врать.

Вспомнить, как пахла в серванте халва,
и подобрать для серванта слова.

Вспомнить, как дедушка голову брил.
Он на ремне свою бритву точил.

С этим ремнём по общаге ночной
шёл я, качаясь. И вспомнить, какой

цвет, и какая фактура, и как
солнце, садясь, освещало чердак...

Чайник кипел. Примус гудел.
Толик Шмелёв мастерил самострел.
1995

22

Видимо, можно и так: просвистать и заесть,
иль, как Набоков, презрительно честь предпочесть.

Многое можно, да где уж нам дуракам.
Нам не до жиру и не по чину нам.

Нам бы попроще чего-нибудь, нам бы забыть.
Нам бы зажмурить глаза и слух затворить.

Спрятаться, скорчиться, змейкой скользнуть в траву.
Ниточкой тонкой вплестись в чужую канву.

Нам-то остатки сладки, совсем чуть-чуть.
Перебирать, копошиться и пыль смахнуть.

Мелочь, осколки, бисер, стеклянный прах.
Так вот Кощей когда-то над золотом чих.

Так вот Гобсек и Плюшкин... Да нет, не так.
Так лишь алкаш сжимает в горсти трояк.

Цены другие, дурень, и деньги давно не те.
Да и ларёк закрыли. Не похмелиться тебе.
1995

23. Русофобская песня

Снова пьют здесь, дерутся и плачут.
Что же всё-таки всё это значит?
Что же это такое, Господь?
Может, так умерщвляется плоть?
Может, это соборность такая?
Или это ментальность иная?..

Проглотивши свой общий аршин,
пред Россией стоит жидовин.
Жидовин (в смысле — некто в очках)
ощущает бессмысленный страх.

Выпей, парень, поплачь, подерися,
похмелися и перекрестися,
«Я ль не свойский?» — соседей спроси,
и иди по великой Руси!
И отыщешь Царевну-лягушку,
поцелуешь в холодное брюшко,
и забудешь невесту свою,

звуки лютни и замок зубчатый,
крест прямой на сверкающих латах
и латыни гудящий размах...
Хорошо ль тебе, жид, в примаках?

Тихой ряской подёрнулись очи.
Отдыхай, не тревожься, сыночек!..
Спросит Хайдеггер: «Что есть Ничто?»
Ты ответишь: «Да вот же оно».

1996

Щекою прижавшись к шинели отца —
вот так бы и жить.
Вот так бы и жить — ничему не служить,
заботы забыть, полномочья сложить,
и все попеченья навек отложить,
и глупую гордость самца.
Вот так бы и жить.

На стриженном жалком затылке своём
ладонь ощутить.
Вот так быть любимым, вот так бы любить
и знать, что простит, что всегда защитит,
что лишь понарошку ремнём он грозит,
что мы не умрём.

Что эта кровать, и ковёр, и трюмо,
и это окно
незыблемы, что никому не дано
нарушить сей мир и сей шкаф платяной
подвинуть. Но мы переедем зимой.
Я знаю одно,

я знаю, что рушится все на глазах,
стропила скрипят.
Вновь релятивизмом кичится Пилат.
А стены, как в доме Нуф-Нуфа, дрожат,
и в щели ползёт торжествующий ад,
хохочущий страх.

Что хочется грохнуть по стёклам в сердцах,
в истерику впасть,

что лёгкого легче предать и проклясть
в преддверьи конца.
И я разеваю слюнявую пасть,
чтоб вновь заглотить галилейскую снасть,
и к ризам разодранным Сына припасть
и к ризам нетленным Отца!

Прижавшись щекою, наплакаться всласть
и встать до конца.

1996

25

За всё, за всё. Особенно за то, что
меня любили. Господи, за всё!
Считай, что это тост. И с этим тостом
когда-нибудь моё житьё-бытьё

окончится, когда-нибудь, я знаю,
придётся отвечать, когда-нибудь
отвечу я. Пока же, дорогая,
дай мне поспать, я так хочу уснуть,

обняв тебя, я так хочу, я очень
хочу, и чтоб на завтра не вставать,
а спать и спать, и чтобы утром дочка
и глупый пёс залезли к нам в кровать.

Понежиться ещё, побаловаться!
Какие там мучения страстей!
Позволь мне, Боже мой, ещё остаться,
в числе Твоих избранных гостей.

Спасибо. Ничего не надо больше.
Ума б хватило и хватило б сил.
Устрой лишь так, чтоб я как можно дольше
за всё, за всё Тебя благодарил.

12 августа 1996

26

Отцвела черемуха.
Зацвела сирень.
Под крылечко кошечка
спряталась в тень.

Крошечка Хаврошечка,
как тебе спалось?
Отчего ты плакала?
С бодуна небось?

Уточки прокрякали.
Матюкнулся дед.
Ничего особого
за душою нет.

Я иду без обуви,
улыбаюсь я.
Босоногой стаечкой
мчится малышня.

Получи же саечку,
парень, за испуг!
Ну и за невежливость
получи, мой друг!

Все идёт по-прежнему
страшно и смешно.
Поводов достаточно.
Доводов полно.

Всяко дело статочно,
ведь Христос воскрес.
Хоть поверить этому
невозможно здесь.

День грядёт неведомый.
Шмель летит, жужжа.
В пятках спит убогая,
мелкая душа.

Всяко дело по боку!
Грейся, загорай!
«Горькую имбирную»
пивом запивай!..

Так вот, балансируя,
балуясь, блажа,
каясь, зарекаяся,
мимо гаража,

мимо протекающих
тихоструйных вод
я иду с авоською.
Так вот. Так-то вот.

1994

ДВАДЦАТЬ СОНЕТОВ К САШЕ ЗАПОВОЙ

1

Любимая, когда впервые мне
ты улыбнулась ртом своим беззубым,
точней, нелепо растянула губы,
прожжённый и потасканный вполне,

я вдруг поплыл — как льдина по весне,
осклабившись в ответ светло и тупо.
И зазвучали ангельские трубы
и арфы серафимов в вышине!

И некий голос властно произнёс:
«Incipit vita nova!» Глупый пёс,
потягиваясь, вышел из прихожей

и ткнул свой мокрый и холодный нос
в живот твой распелёнутый. О Боже!
Как ты орёшь! Какие корчишь рожи!

2

И с той январской ночи началось!
С младых ногтей алкавший Абсолюта
(нет, не того, который за валюту
мне покупать в Стокгольме довелось,

который ныне у платформы Лось
в любом ларьке поблескивает люто),
я, полусонный, понял в ту минуту,
что вот оно, что всё-таки нашлось

хоть что-то неподвластное ухмылкам
релятивизма, ни наскокам пыльным
дионисийских оголтелых муз!

Потом уж, кипятя твои бутылки
И соски под напев «Европы-плюс»,
я понял, что ещё сильнее боюсь.

3

Но в первый раз, когда передо мной
явилась ты в роддоме (а точнее —
во ВНИЦОЗМИРе), я застыл скорее
в смущенье, чем в восторге. Бог ты мой!

Как странен был нездешний облик твой.
А взгляд косящий и того страннее.
От крика заходясь и пунцовея,
три с лишним килограмма чуть живой

ничтожной плоти предо мной лежало,
полметра шевелилось и взывало
бессмысленно ко мне, как будто я

сам не такой же... Мать твоя болтала
с моею тётцей. И такси бежало,
как утлый чёлн, в волнах небытия.

4

И понял я, что это западня!
Мой ужас, усмиренный только-только,
пошел в контрнаступление. Иголки,
булавки, вилки, ножницы, звеня,

к тебе тянулись! Всякая фигня
опасности таила втихомолку.
Розетка, кипяток, котёнок Борька,
балкон и лифт бросали в дрожь меня.

А там, во мгле грядущей, поджидал
наильник, и Невзоров посылал
ОМОН на штурм квартиры бедной нашей,

АЭС взрывались... Бездны на краю
уже не за свою, а за твою
тончайшую я шкуру трясса, Саша.

5

Шли дни. Уже из ложки ела ты.
Вот звякнул зуб. Вот попка округлилась.
Ты наливалась смыслом, ты бесилась,
агукала средь вечной пустоты.

Шли съезды. Шли снега. Цвели цветы.
Цвёл диатез. Пелёнки золотились.
Немецкая коляска вдаль катилась.
И я забыл мятежные мечты.

Что слава? Что восторги сладострастья?
Что счастье? Наверно, это счастье.
Ты собрала, как линзочка, в пучок

рассеянные в воздухе ненастном
лучи любви, и этот свет возжёт —
да нет, не уголь — лампадный фитилёк.

6

Чтоб как-то структурировать любовь,
избрал я форму строгую сонета.
Катрена два и следом два терцета.
abba. Поэтому морковь

я тру тебе опять. Не прекословь! —
как Брюсов бы сказал. Морковка эта
полезнее котлеты и конфеты,
abba. И вот уже свекровь

какая-то (твоя, наверно) прётся
в злосчастный стих. cсdc. Бороться
нет сил уж боле. Зря суровый Дант

не презирал сонета. Остается
dd, Сашура. Фант? Сервант? Сержант?
А может, бант? Нет, лучше бриллиант.

7

Я просыпаюсь оттого, что ты
пытаешься закрасить мне щетину

помадою губной. И так невинно
и нагло ты хохочешь, так пусты

старанья выбить лживое «Прости,
папулечка!», так громогласно псина
участвует в разборке этой длинной,
и так полны безмозглой чистоты

твои глаза, и так твой мир огромен,
и неожидан, и притом укромен,
и так твой день бескраен и богат,

что даже я, восстав от мутной дремы,
продрав угрюмый и брезгливый взгляд,
не то чтоб счастлив, но чему-то рад.

8

Ну вот твое Коньково, вот твой дом
родной, вот лесопарк, вот ты на санках,
визжа в самозабвеньи, мчишься, Санька,
вот ты застыла пред снеговиком,

мною вылепленным. Но уже пушком
покрылись вербы, прошлогодней пьянки
следы явила вешняя полянка,
и вот уж за вертлявым мотыльком

бежишь ты по тропинке. Одуванчик
седеет, и лысеет, и в карманчик
посажен упирающийся жук.

И снова тучи в лужах ходят хмуро...
Но это всё с тобою рядом, Шура,
спираль уже, а не порочный круг.

9

«Ну что, читать?.. У Лукоморья дуб
зелёный... Да, как в Шильково... золотая...
ну золотая, значит, вот такая,
как у меня кольцо...» Остывший суп

десертной ложкой тыча мимо губ,
ногой босою под столом болтая,
обедаешь, а я тебе читаю
и раздражаюсь потихоньку. Хлюп —

картошка в миску плюхается снова.
Обсценное я сглатываю слово.
«Ешь, а не то читать не буду, Саш!

...на дубе том...» — «Наш Том?!» — «Не понимаю,
что́ — наш?» — Но тут является, зевая,
легчайший на помине Томик наш.

10

Как описать? Глаза твои красивы.
Белок почти что синий, а зрачок
вишнёвый, что ли? Чёрный? Видит Бог,
стараюсь я, но слишком прихотливы

слова, и, песнопевец нерадивый,
о видео мечтаю я, Сашок.
Твоих волос густой и тонкий шёлк
рекламе уподоблю я кичливой

«Проктэр энд Гэмбл» продукции. Атлас
нежнейшей кожи подойдет как раз
рекламе «Лореаль» и мыла «Фриско».

Прыжки через канаву — «Адидас»
использовать бы мог почти без риска.
А ласковость и резвость — только «Вискас»!

11

Ты горько плачешь в роковом углу.
Бездарно притворяясь, что читаю
Гаспарова, я тихо изнываю,
прервав твою счастливую игру

с водой и рафинадом на полу.
Секунд через пятнадцать, обнимая
тебя, я безнадежно понимаю,
как далеко мне, старому козлу,

до Песталоцци... Ну и наплевать!
Тебя ещё успеют наказать.
Охотников найдётся выше крыши.

Подумаешь, всего-то полкило.
Ведь не со зла ж и явно не на зло.
Прости меня. Прижмись ко мне поближе.

12

Пройдут года. Ты станешь вспоминать.
И для тебя вот эта вот жилплощадь,
и мебель дээспэшная, и лошадь
пластмассовая, и моя тетрадь,

в которой я пытаюсь описать
всё это, и промокшие галоши
на батарее, и соседский Гоша,
и Томик, норвящий подремать

на свежих простынях — предстанут раем.
И будет светел и недосыгаем
убогий, бестолковый этот быт,

где с мамой мы собачимся, болтаем,
рубли считаем, забываем стыд.
А Мнемозина знай своё творит.

13

Уж полночь. Ты уснула. Я сижу
на кухне, попивая чай остывший.
И так как мне бумаги не хватило,
я на твоих каракулях пишу.

И вот уже благодаря у-шу
китаец совладал с нечистой силой
по НТВ, а по второй — дебилы
из фракции какой-то. Я тушу

очередной окурок. Что там снится тебе, мой ангел? Хмурая столица ворочается за окном в ночи.

И до сих пор неясно, что случится. Но протянулись через всю страницу фломастерного солнышка лучи.

14

«Что это — церковь?» — «Это, Саша, дом, где молятся». — «А что это — молиться?» Но тут тебя какая-то синица, по счастью, отвлекает. Над прудом,

над дядьками с пивком и шашлычком крест вновь открытой церкви золотится. И от ответа мне не открутиться. Хоть лучше бы оставить на потом

беседу эту. «Видишь ли, вообще-то, есть, а верней, должно быть нечто, Саш, ну, скажем, трансцендентное... Об этом

уже Платон... и Кьеркегор... и наш Шестов...» Озарены вечерним светом вода, и крест, и опустевший пляж.

15

Последние лет двадцать — двадцать пять так часто я мусолил фразу эту,

так я привык, притиснув в танце Свету
иль в лифте Валю, горячо шептать:

«Люблю тебя!» — что стал подозревать,
что в сих словах иного смысла нету.
И все любви, канувшие в Лету,
мой скепсис не могли поколебать.

И каково же осознать мне было,
что я... что ты... не знаю, как сказать.
Перечеркнув лет двадцать — двадцать пять,

Любовь, что движет солнце и светила,
свой смысл мне хоть немножко приоткрыла,
и начал я хоть что-то понимать.

16

Предвижу всё. Набоковский фрейдист
хихикает, ручонки потирает,
почесывает пах и приступает
к анализу. А концептуалист,

чьи тексты читит всяк сущий здесь славист,
плечами сокрушённо пожимает.
И палец указательный вращает
у правого виска метафорист.

Сальери в «Обозренье книжном» лает,
Моцарт зевок ладошкой прикрывает,
на добычу стремится пародист,

всё громче хохот, шиканье и свист!
Но жало мудрое упрямо возглашает,
как стан твой пухл и взор твой как лучист!

17

Где прелести чистейшей образцы
представлены на удивленье мира —
Лаура, леди смуглая Шекспира,
дочь химика, которую певцы,

Прекрасной Дамы верные жрецы,
делили, и румяная Пленира —
туда тебя отеческая лира
перенесёт. Да чтут тебя чтецы!

А впрочем, нет, сокровище моё!
Боюсь, что это вздорное бабье
тебя дурному, доченька, научит.

Не лучше ли волшебное питьё
с Алисой (Аней) выпить? У неё
тебе, по крайней мере, не наскучит.

18

Промчались дни мои. Так мчится буйный Том
за палкою, не дожидаясь крика
«Апорт!», и в нетерпении великом
летит назад с увесистым дрючком.

И вновь через орешник напролом,
и лес, и дол наполнив шумом диким —
и топотом, и тьяканьем, и рыком,
не ведая конечно же о том,

что вот сейчас докурит сигарету
скучающий хозяин, и на этом
закончится игра, и поводок

защёлкнется, а там, глядишь, и лето
закончено, а там уже снежок...
Такая вот метафора, дружок.

19

И если нам разлука предстоит...
Да что уж «если»! Предстоит, конечно.
Настанет день — твой папа многогрешный,
неверный муж, озлобленный пиит,

лентяй и врун, низвергнется в Аид.
С Франческой рядом мчась во мгле кромешной
вспомню я и профиль твой потешный,
и на горшке задумчивый твой вид!

Но я взмолюсь, и Сила Всеблагая
не сможет отказать мне, дорогая,
и стану я являться по ночам

в окровавленном саване, пугая
обидчиков твоих. Сим сволочам
я холоду могильного задам!

Я лиру посвятил сюсюканью. Оно
мне кажется единственно возможной
и адекватной (хоть безумно сложной)
методой творческой. И пусть Хайям вино,

пускай Сорокин сперму и говно
поют себе усердно и истошно,
я буду петь в гордыне безнадёжной
лишь слёзы умиленья всё равно.

Не граф Толстой и не маркиз де Сад,
князь Шаликов — вот кто мне сват и брат
(кавказец, кстати, тоже)!.. Голубочек

мой сизенький, мой миленький дружочек,
мой дурачок, Сашочек, ангелочек,
кричи «Ура!» Мы едем в зоосад!

Январь — май 1995

ПАМЯТИ ЛЮБИМОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Для отрока, в ночи кропающего вирши,
мир бесконечно стар и безнадёжно сер.
И правды нет нигде — ни на земле, ни выше,
и класс 9-й «А» тому живой пример.

О скука, о тщета! Обыденности бремя
сносить не станет сил! И не хватает слов,
чтоб высказать им всем, чтобы порвать со всеми,
бежать, бежать, бежать, смываться вновь и вновь!

Мамаши в бигудях, и папеньки в подтяжках,
с пелёнками любовь, и с клёцками супы.
Действительно, кошмар. Скипай скорей, бедняжка,
куда глаза глядят, подальше от толпы!

Куда глаза глядят? — На небо иль под юбку.
Но в небе пустота, под юбкой — чёрт-те что.
О, как не пригубить из рокового кубка,
когда вокруг не то, всегда, везде не то!

Когда тошнит уже от пойла общепита,
когда не продохнуть, ни охнуть от тоски,
когда уже ни зги от злости и обиды,
когда уже невмочь...

О, детские мозги!

Взгляни — цветы добра возрастают вдоль дороги —
ромашка, иван-чай, и лютик, и репей,
и этот — как его?.. Пока ещё их много.
Куда тебя несёт? Остаься, дуралей!

Присядь. Перекуси. Успеется, сердешный.
Она сама придёт. Не торопи её.
И так уж наш пикник оцеплен тьмой кромешной,
и так уж всё вокруг и гибнет, и поёт.

Оцеплен наш бивак. И песня наша спета.
Но ноты и слова запомнит кто-нибудь.
Чего ж тебе ещё? Ни одного куплета
нам больше не сложить, уж ты не обессудь.

Уж вечер. Уж звезда, как водится, с звездой
заводит разговор. Разверзла вечность зев.
Осталось нам прибрать весь мусор за собою,
налить на посошок и повторить припев:

Смерть, старая манда, с дороги! Не чернила,
не кровь и не вода, но доброе вино
с бедняцкой свадьбы той нас грело и пьянило,
Мария с Марфой нам служили заодно!

Мария с Марфой нас кормили и поили.
Нам есть чего терять. Нам есть жалеть о чём.
Буквально обо всём. Буквально до могилы.
А может, и потом. Должно быть, и потом.

1997–1999

ПЕСНЬ СОЛЬВЕЙГ

Вот, бля, какие бывали дела —
страсть мое сердце томила и жгла!

Лю, бля, и блю, бля,
и жить не могу, бля,
я не могу без тебя!

Прошное дело, а всё-таки факт —
был поэтичен обыденный акт,
был поэтичен, и метафизичен,
и символичен обыденный фак!

Он коннотации эти утратил
и оказался, вообще-то, разворотом.

Лю эти, блю эти,
жить не могу эти!
Das ist phantastisch!
Oh, yeah!

Уж не собрать мне в аккорд идеальный
Грига и Блока с бесстыдством оральным
и пролонгацией фрикций. Но грудь
всё же волнуется — о, не забудь!

Лю, бля, и блю, бля,
и жить не могу, бля,
я не могу без тебя,
не могу!

А на поверку — могу ещё как!
Вышить мастак и поесть не дурак.

Только порою сердечко блажит,
главную песню о старом твердит:

Лю, говорю тебе, блю, говорю я,
бля, говорю я, томясь и тоскуя!

Das ist phantastisch!

Клянусь тебе, Сольвейг,
я не могу без тебя!

1998

IBID

Куда ж нам плыть? Бодлер с неистойвой Мариной
нам указали путь. Но, други, умирать
я что-то не хочу... Вот кошка Катерина
с овчаркою седой пытается играть.

Забавно, правда ведь? Вот книжка про Шекспира
доказывает мне, что вовсе не Шекспир
(тем паче не певец болгарский Бисер Киров)
«to be or not to be?» когда-то спросил,

а некий Рэтленд, граф. Ведь интересно, правда?
А вот, гляди — Чубайс!! А вот — вот это да! —
с Пресветлым Рождеством нас поздравляет «Правда»!
Нет, лучше погожу — чтоб мыслить и страдать.

Ведь так, мой юный друг?.. Вот пухленький ведущий
Программы «Смак» дает мне правильный совет
не прогибаться впредь пред миром этим злющим.
Ну улыбнись, дружок! Потешно, правда ведь?

И правда страшно ведь? И правда ведь опасно?
Не скучно ни фига! Таинственно скорей.
Не то чтоб хорошо. Не то чтобы прекрасно —
невероятно всё и с каждым днём чудней!

«Dahin! Dahin!» — Уймись. Ей-богу надоело.
Сюда, сюда, мой друг! Вот полюбуйся сам,
как сложен, преломлён, цветаст свет этот белый!
А тот каков — и так узнать придётся нам.

Лень-матушка спасёт. Хмель-батюшка утешит.
Сестра-хозяйка нам расстелит простыню.
Картина та ещё. Всё то же и всё те же.
Сюжет — ни то ни сё. Пегас ни тпру ни ну.

Но — глаз не оторвать! Но сколько же нюансов
досель не знали мы, ещё не знаем мы!
Конечно же to be! Сколь велико пространство,
как мало времени! Пожалуйста, уймись.

И коль уж наша жизнь, как ресторан вокзальный,
дана на время нам — что ж торопить расчет?
Упьюсь и обольюсь с улыбкою прощальной.
И бабки подобью. И закажу ещё.

И пламень кто-нибудь разделит поневоле.
А нет — и так сойдет. О чём тут говорить?
На свете счастье есть. А вот покоя с волей
я что-то не встречал. Куда ж нам к чёрту плыть!

1998–1999

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЙ СОНЕТ

Время итожить то, что прожил,
и перетряхивать то, что нажил.
Я ничегошеньки не приумножил.
А кое-что растранижил даже.

Слишком ты много вручил мне, Боже.
Кое-что я уберёг от кражи.
Молью почикано много всё же.
Взыскано будет за все пропажи.

Я околачивал честно груши —
вот сухофрукты! Они не хуже,
чем плоды просвещенья те же,

лучше хранятся они к тому же.
Пусть я халатен был и небрежен —
бережен всё же и даже нежен.

1999



Всё-таки лучше всего
социальная роль литератора
(в частности, лирика)
отражена
в басне Ивана Андреича
«Слон и Моська».

Но и в нижецитируемом
произведении Корнея Ивановича
образ писателя также весьма убедителен,
равно как и образ читателя:

«Взял барашек
карандашик,
взял и написал:
“Я мемека, я бебека,
я медведя забодал!”

А лягушка у колодца
заливается, смеётся —
вот так молодец!»

1999



Курицын Слава дразнит меня в «Лит. обозе»: Деньги, мол, любит Кибиров, а работать не хочет.

Очень люблю, это правда. И правда, совсем не хочу. Что же тут странного, Слава? Вот если б, напротив,

я бы работать любил, а вот денежек бы не хотел это вот было бы глупо. А так — всё нормально.

Не говоря уж о том, что любовь и работа вещи — ей-ей — несовместные в мире подлунном.

Этим вот блядь отличается от проститутки.

1999



К. Гадаеву

Пастернак наделён вечным детством.
Вечным отрочеством — Маяковский.
Вечной женственностью — Блок и Белый.

А мужчина-то только один —
Александр Сергеевич Пушкин.

Это тост, Константин!
Где же кружка?

1999



Ну, началось! Это что же такое?
Что ж ты куражишься, сердце пустое?
Снова за старое? Вновь за былое,
битый червовый мой туз?
Знаешь ведь, чем это кончится, знаешь!
Что же ты снова скулишь, подвываешь?
Что ж опрометчиво так заключаешь
с низом телесным союз?

С низом телесным иль верхом небесным —
это куда ещё неизвестно!
Экие вновь разверзаются бездны!
Шесть встрепенулися чувств.
Оба желудочка ноют и ноют!
Не говоря уж про все остальное,
не говоря уж про место срамное —
«Трахаться хочешь?» — «Хочу!»

Кто же не хочет. Но дело не в этом,
дело, наверно, в источнике света,
в песенке, как оказалось, не спетой,
в нежности, как ни смешно!
Как же не стыдно!.. И, в зеркало глядя,
я обращаюсь к потёртому дяде:
угомонись ты, ублюдок, не надо!
Это и вправду грешно!

Это сюжет для гитарного звона,
или для бунинского эпигона,
случай вообще-то дурнейшего тона —
пьянка. Потрёпанный хлюст.

Барышня. Да-с, аппетитна, плутовка!..
Он подшофе волочится неловко,
крутит седеющий ус.

Глупость. Но утром с дурной головою
вдруг ощущает он что-то такое,
вдруг ошарашен такою тоскою,
дикой такою тоской —
словно ему лет пятнадцать от силы,
словно его в первый раз посетило,
ну и так далее. Так прихватило —
Господи Боже ты мой!

Тут уж не Блок — это Пригов скорее!
Помнишь ли — «Данте с Петраркой своею
Рильке с любимую Лоркой своею»?..

Столь ослепителен свет,
что я с прискорбием должен признаться,
хоть мне три раза уже по пятнадцать —
Salve, Madonna! и Ciao, ragazza!

Полный, девчонка, привет!

1999



Ладно уж, мой юный друг,
мне сердиться недосуг,
столько есть на свете
интересных всяких штук!
Взять хоть уток этих!

Взять хоть волны, облака,
взять хоть Вас — наверняка
можно жизнь угробить,
можно провести века,
чтоб узнать подробно

Ваши стати, норы Ваш,
признаков первичных раж,
красоту вторичных.
Но и кроме Вас, Наташ,
столько есть в наличие

нерассмотренных вещей,
непрочитанных идей,
смыслов безымянных,
что сердиться — ей-же-ей —
как-то даже странно!

Есть, конечно, боль и страх,
злая похоть, смертный прах —
в общем, хулиганство.
Непрочны — увы и ах —
время и пространство.

Но ведь не о том письмо!
Это скучное дерьмо
недостойно гнева!
Каркнул ворон: «Nevermore!»
Хренушки — forever!

1999

ЗАЯВКА НА ИССЛЕДОВАНИЕ

Когда б Петрарке юная Лаура
взяла б да неожиданно дала —
что потеряла б, что приобрела
история твоей литературы?

Иль Беатриче, покорясь натуре,
на плечи Данту ноги б вознесла —
какой бы этим вклад она внесла
в сокровищницу мировой культуры?

Или, в последний миг за край хитона
её схватив на роковой скале,
Фаон бы Сафо распластал во мгле —

могли бы мы благодарить Фаона?
Ведь интересно? Так давай вдвоём
мы опытным путём ответ найдём!

1999



Вот, полюбуйся — господин в годах,
к тому ж в минуты мира роковые
не за Отчизну ощущает страх,
мусолит он вопросы половые!

Трещит по швам и рушится во прах
привычный мир, выносятся святые.
А наш побитый молью вертопрах
всё вспоминает груди молодые,

уста и очи Делии своей.
Противно и смешно. — Но ей-же-ей,

есть, Таша, точка зрения, — с которой
предстанет не таким уж пошлым вздором
наш случай — катаклизмов всех важней
окажется любовь, коль взглянешь строго
на это дело с точки зренья Бога.

1999



Блоку жена.
Исаковскому мать.
И Долматовскому мать.
Мне как прикажешь тебя называть?
Бабушкой? Нет, ни хрена.

Тёщей скорей. Малохолный зятёк,
приноровиться я так и не смог
к норову, крову, нутру твоему
и до сих пор не пойму, что к чему.
Непостижимо уму.

Ошеломлён я ухваткой твоей,
ширью морей разливанных и щей,
глубью заплывших, залитых очей,
высью дебелих грудей.

Мелет Емелька, да Стенька дурит,
Мара да хмара на нарах храпит.
Чара визжит-верещит.

Чарочка — чок, да дубинушка — хрясь!
Днесь поминаем, что пили вчерась,
что учудили надысь.
Ась, да авось, да окстись.

Что мне в тебе? Ни аза, ни шиша.
Только вот дочка твоя хороша,
не по хорóшу мила.
В Блока, наверно, пошла.

2000



С тобою, как с бессмертными стихами, —
ни выпить, ни поцеловать!
Ни дать ни взять... Смотри ж, земля под нами
плодоносить готовится опять!

Смотри же — меж недвижными звездами
мерцающий стремится огонек
с авиапочтой, может, со словами
моими о тебе. И видит Бог,

как мы с тобой, Им созданные, чтобы
в обнимку спать в ночи блаженной сей,
ворочаемся и томимся оба
в постели жаркой, каждый во своей.

Смотри же, как красиво в этом мире,
как до сих пор ещё красиво в нём!
Не оставляй меня! На сем прощальном пире
предписано нам возлежать вдвоём!

Смотри, любимая, — пока ещё, как древле
среди мировой позорной чепухи
висят созвездья, высятся деревья
и смертные, как человек, стихи!

2000

ЮБИЛЕЙ ЛИРИЧЕСКОГО ГЕРОЯ

Ещё как патриарх не древен я, но всё же
в час утренний глядеть на собственную рожу
день ото дня тоскливей и тошней.
И хоть ещё осталось много дней,
в два раза больше позади осталось.

И что же? Где она, блаженная усталость,
и умудрённость где? Где-где — в узде,
которой взнуздан я мирскими суетами —
тщеславьем, леностью, а паче словесами
хитросплетёнными, игрою роковой
фоном бессмысленных с нагрузкой смысловой,
и возбешеньем блудным (друг-хохол
такую дефиницию нашёл
для страсти нежной, коей мучим я).
Всё жду чего-то. Не старей меня
был твой певец пиров и финских скал,
когда в отчаяньи сумрачном писал
про лысины бессилия. А я,
плешивей становясь день ото дня,
не знаю угомону. Сорок пять.
Пора, мой друг. Но хочется опять.
Шкодлив, как кошка, и труслив, как заяц,
всё поджидаю дедушку Мазая.
А воды прибывают, и шумят,
и намочить мне лапки норовят.

И вот февраль. Достать чернил и паркер,
подаренный тобой, заправив, выпив чарку-
другую италийского вина,

писать себе с утра и до темна,
себе писать с темна и до утра:
«Пора, мой друг, действительно пора.
Успехов в личной жизни, милый мой.
Ну, будь здоров, лирический герой!
Геройствуй помаленечку, дружок,
и с Божьей помощью мы свой отбудем срок».

2000



Большое спасибо, Создатель,
что вплоть до последнего дня
и праздным, и дураковатым
ещё сохраняешь меня,

что средь серьезных и пышных,
и важных, и тяжких, как грех,
ещё, никудышный и лишний,
не в силах я сдерживать смех,

что ты позволяешь мне шляться,
прогуливать и привирать,
играться, и с толку сбиваться,
а может быть, даже сбивать,

за то, что любили, жалели
меня ни за что ни про что,
пускали в дома и постели,
сажали за праздничный стол!

Отдельное также спасибо
за ту, что не любит ещё,
но так уж светла и красива,
что мне без того хорошо.

За лёгкую, лёгкую лиру,
за лёгкость мою на подъём,
и что не с прогорклого жиру
бешусь я на пире Твоём!

Спасибо за мозг и за фаллос,
за ухо, и горло, и нос,
за то, что так много досталось,
и как-то само утряслось,

что не по грехам моим судишь,
а по милосердью Твоему,
и вновь беспроцентную ссуду
вручаешь незнамо кому,

что смотришь сквозь пальцы на это,
что Ты не зануда и жмот,
и не призываешь к ответу
за каждый насущный ломоть!

Что свет загорается утром
и светит в течение дня,
и что, как Макаренко, мудро
доверьем ты учишь меня,

что праздность мою наполняешь
своим драгоценным вином
и щедрой рукой подливаешь,
скрывая скудельное дно.

Коль всё мое дело — потеха,
не грех побездельничать час!
За то, что всегда мне до смеха
до слёз из распахнутых глаз!

Что бисер мечу торовато,
что резвая Муза сия,
прости уж, Господь, глуповата,
ленива, смешлива, как я!

Пускай уж филолог Наташка
пеняет на то, что пусты
и так легковесны бумажки
с моими словами, но Ты,

но Ты-то ведь знаешь, конечно,
ты ведаешь, что я творю.
За всю мою нищую нежность
покорнейше благодарю!

За бережность и за небрежность,
за вежливость с тварью Твоей,
удачливость и безуспешность
непыльных трудов и ночей!

Спасибо. И Ты уж прости мне,
что толком не верую я,
что тостом дурацким, не гимном
опять славословлю Тебя!

Так выпьем по перовой за астры,
нальём по второй — за исход
по третьей наполним и баста,
ведь троицу любит Господь!

Так выпьем за нашу победу,
как в фильме советский шпион,
за то, чтобы всё я разведал
и вовремя смылся, как он.

2000

ЧИН ЧИНА ПОЧИТАЙ!

Так мы тревожились,
так ужасались,
так хлопотали
последних три века,

чтоб нам, не дай Бог, не поставили
в Вольтеры фельдфебеля,

так мы перепугались,
что и думать забыли —

а ну как поставят
в фельдфебели Вольтера,
в генералы Руссо,
а де Сада... нет — Жоржа Занда! —
в генералиссимусы!

Уж тут-то не забалуешь.

2002

ПИРОСКАФ

И поскольку всё,
что я любил, что я хранил,
в чём сердце я похоронил,
сброшено с корабля
(или у футуристов «с парохода»?)
современности —
сигану-ка и я за борт!

Конечно, спасти никого не удастся,
но хотя бы недолго ещё побарахтаюсь,
побуду в приличном обществе,
в роковом его просторе...

А «Титаник» пусть себе плывет,
и приклатнённый Ди Каприо
пусть себе ставит раком
всех пассажиров и членов команды...

Молодцу плыть недалечко.

2002

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Розы цветут! Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа!
Андерсен

1

Торопясь, торжествуя заране,
мальчик выскочит вновь из толпы
и опять завизжит — «А король-то, король-то....»

и вдруг умолкнет,
увидев внезапно,
что не только король,
но и вся его свита,
министры, лейб-гвардия, фрейлины,
даже сами портняжки-обманщики —

голые!
Все буквально
в чём мать родила!

И обернувшись растерянно
к толпам народным,
он узрит лишь нагие тела,
обнажённую
жалкую плоть человечью.

И совсем уж смутившись и струсив,
почувствует голую,
гусиную, синюю
кожу свою мальчуковую

и дальше увидит нагие деревья,
увидит, что лес обнажился,
что поля опустели,
что пустынна нагая земля

и что скоро зима...

Кто же, ну кто же укутает нас,
разоблачённых?
Кто же, ну кто же прикроет нас,
голеньких
рыцарей голого короля?

2

Наш-то король — гол,
а вот их королева — снежная,
тьма и стужа кромешная!
Против него —
ого-го!

Ни гу-гу...
Вот и лежи на снегу.

Вот и решай,
глупенький Кай.

Вот и иди,
глупая Герда.

Там, впереди —
Царствие смерти.

Там, позади —
розы цветут.

Ну, не цветут...
Ну, отцвели...
Ну так и что ж?

Скоро — узришь.
Если — дойдёшь.

2003



Моисеевы скрижали
мы прилежно сокращали,
мы заметно преуспели
в достиженьи этой цели.

И один лишь не сдаётся
бастион обскурантизма —
предрассудок «Не убий!»

Но и он уж поддаётся
под напором гуманизма,
братства, равенства, любви!

Добрый доктор Гильотен,
добрый доктор Геворкян

прописали нам лекарства
против этого тиранства.

(А от заповедей прочих
доктор Фрейд успешно лечит!)

Приходите к ним лечиться,
прирождённые убийцы...

Но нельзя, товарищи, забывать
и о важности эстетического воспитания.
Невозможно, товарищи, отрицать
заслуги нашей творческой интеллигенции
в преодолении вековой отсталости!

Достаточно назвать
имена Ницше и маркиза де Сада,
лорда Байрона и М. Горького,
В. Маяковского, К. Тарантино, В. Сорокина
и многих, и многих других,
не менее талантливых
бойцов идеологического фронта...

2003

БАЛЛАДЫ ПОЭТИЧЕСКОГО СОСТЯЗАНИЯ В ВИНГФИЛДЕ

1. Баллада виконта Фогельфрая

Желанье уподобиться богам
И скотный двор для твари травоядной —
Эдемский сад — послать ко всем чертям,
Описанное в Библии невнятно,
Всяк смертный испытал неоднократно,
Как матерь Ева и отец Адам!
Пусть раб трусливый просится обратно,
Меня тошнит от этого, Мадам!

Ужель не стыдно и не тошно Вам
Внимать заветам лжи невероятной?!
Ах, как приятно сей убогий срам
Разоблачать рукою беспощадной!
Над наготой родителя отвратной
Смеяться впряме вечно-юный Хам!
Пусть лжец отводит взоры деликатно,
Меня тошнит от этого, Мадам!

В пустыне вопиющим голосам
Не заглушить музы́ки благодатной!
Да пляшет вечно Саломея нам,
Да движутся светила коловратно!
Облечь нас власяницей неопрятной
Уж не удастся этим дуракам!
Когда ж уже им будет неповадно!
Меня тошнит от этого, Мадам!

Посылка:

Окружены толпою нищих смрадной,
Зажавши нос, Вы входите во храм.
Но нищих духом вонь страшней стократно!
Меня тошнит от этого, Мадам!

2. Ответ сэра Уилфреда

Баллада о трусливом рыцаре

Жил-был дурак, моя Госпожа,
Жил был трус и дурак.
Весь свой жалкий век он прожил дрожа,
Хвост поджав от страха и чуть дыша.
Так он прожил и умер так.
И ни блеск мечей,
Ни сиянье очей
Благородных девиц и дам,
Ни даже резоны отцовских речей —
Нет, ничто, моя Госпожа,
Не могло пробудить в нём рыцарский жар,
Даже смех, даже стыд и срам!

И только из трусости бедный дурак
Не решился ответить «Нет!»,
Когда Ричард воскликнул: «Да сгинет враг!
Да святится Имя Христово! Пора
Исполнять Великий Обет!»
Ибо все тогда
Отвечали «Да!»,
И в испуге поддакнул он.
И вместе с нами под знаком Креста
Он отплыл в Палестину, моя Госпожа,

И у всех доселе память свежа,
До чего же он был смешон!

И в первой же битве — и смех и грех! —
Отличился трусливый балбес!
Он коня повернул на глазах у всех,
На скаку растеряв за доспехом доспех,
В знойном мареве он исчез!
Был тот бой жесток!
Тщетно Лжепророк
На Христа из бездны восстал!
Ибо мы победили, моя Госпожа!
А дурак был наказан — с его плаща
Ричард крест во гневе сорвал!

И меч над дурацкой главой преломив,
Отослал дурака в обоз!
И когда осадили мы Аль-Вааль-Рив,
Как простой холоп, трус землю копал!
И был он, моя Госпожа, так мал,
Так смешон и жалок до слез!
Так он был смешон,
Когда был пронзен
Он стрелой пониже спины!
Хохотали два стана, глядя, как он
Ковылял торопливо, моя Госпожа,
Со стрелой в заду, от страха визжа...
Нет, и вправду он был смешон!

Там, под Аль-Вааль-Ривом был взят в полон
Сарацинами сэр Гийом,
И был изуродован и оскоплён
Наш весёлый певец молодой.
И на стену он выведен был нагой,

И распят на стене живьём.
И за эту боль
Наш славный король
Повелел не щадить никого,
Ибо мести взалкало сердце его,
Его львиное сердце, моя Госпожа,
И пошли мы на приступ, ворота круша
Нечестивого града сего!

И тех, кто в бойне сумел уцелеть —
Стариков, старух и детей,
Велел нам Ричард собрать в мечеть
И хворост собрать, и дверь запереть,
И факел пылающий над головой
Вознёс он десницей своей!
Но тут, Госпожа,
Вереща и дрожа,
Выбегает наш дурачок!
Увернувшись от стража, толкнув пажа,
Виснет дурак на руке короля
И — да будет пухом ему земля! —
Получает шуйцей в висок!

Железною шуйцею в правый висок
Получает дурак и трус,
И льётся дурацкая кровь на песок,
И факел шипит, и вьётся дымок,
И глядит с небес Иисус!
И шепчет король — «Ну Бог с тобой...»
И уводит нас за собой.

Вот так он умер, дурак и трус,
Он и прожил всего ничего.
Но спасеньем души своей грешной клянусь,

И любовь к Вам, Госпожа, клянусь,
Что, когда б не дурость его,
Никто — видит Бог —
С тех пор бы не смог
Львиным Сердцем Ричарда звать!
И мы не имели бы права впредь,
Когда б не его дурацкая смерть,
Под багряным Крестом погибать!

2005



Из заповедей я не нарушал
одну лишь «Не убий» и то случайно.
Поскольку мне везло необычайно,
я никого пока не убивал.

А так — и сотворил, и возжелал,
не соблюдал, и даже воровал!
И всё же, если приходил в отчаянье,
то не от чтенья сих постыдных строк,
а оттого, что милосердный Бог

не дал мне рог, бодливому балбесу,
чтоб я не стал во всём подобен бесу!..

При всём при том,
при всём при том
хватает мне стыда
в косноязычных интервью
витийствовать всегда
о том, что мир погряз в грехах
и канул без следа!

И в интервью, и в сих строках,
и чокаясь в «Апшу»,
и даже в любострастных снах
я об одном блажу —

о том, как надо нам вести
себя и кровных чад,
о том, что надо нам блюсти,

что надо соблюдать
всё то, что сам могу снести,
не более минут пяти,
от силы десяти!

Для пробы места нет на мне
и нет на мне креста!
Увы — хватает мне вполне
лишь страха и стыда —
чтоб говорить, чтоб голосить,
над милым прахом выть!

Я в скверне по уши давно,
но называть говном говно
имею право всё равно,
как это ни смешно!

2005



Если уж выбрал малобюджетную роль
рыцаря бедного
(см. также у Заболоцкого — «бедный мой воитель»),
изволь
решить, наконец,
что же именно кровью своею
начертать на щите
(Ну не Н.Н.М. же в конце-то концов!).

Каков же девиз,
каков же рекламный слоган
сей безнадежной кампании?..

Ты знаешь,
когда я служил МНС-ом
во Всесоюзном НИИ искусствознания,
я часто присутствовал
на открытых партийных собраниях,
и на траурных митингах
по случаю смерти генсеков
тоже частенько.

И вот тогда-то, слушая
благородными сединами убелённых
учёных мужей
и утончённых
искусствоведческих дам,
которые так старались и в этом,
навязанном им
унизительном контексте,

сказать что-нибудь эдакое,
нетривиальное,

я, в бессильной злобе, повторял про себя
блатную похабную поговорочку —

«Под ножом всякая даст,
да не всякая подмахивать будет!»

И вот теперь мне кажется,
что это относится не только к той,
слава Богу, полузабытой ситуации,
что это вообще универсальная максима
и что ничего благородней и мужественней
не рождал человеческий гений —

«Под ножом-то всякая даст,
но не всякая — слышишь? — не всякая
подмахивать станет!»

Ибо нам
не дано
победить.

Ибо нам
суждено
проиграть.

Но подмахивать всё же
грешно!
Западло
расслабляться
и получать удовольствие!

Даже под ножом,
даже
под гнётом власти роковой
и даже
под страхом оказаться чужим
веку сему!

2005

ЭПИЛОГ

Короче — чего же ты всё-таки хочешь?
Чего ты взыскуешь? О чём ты хлопочешь,
лопочешь, бормочешь и даже пророчишь
столь невразумительно, столь горячо?
В какие зовёшь лучезарные дали?...

Ты знаешь, мы жили тогда на Урале,
тогда нами правил Никита Хрущёв.
Но это не важно...

Гораздо важнее,
что были тогда мандарины в продмагах
ужасною редкостью... В общем, короче —
вторые каникулы в жизни, а я
болею четвёртые сутки... Той ночью

стояли за окнами тьма и зима,
и Пермь незнакомая тихо лежала
в снегах неподъёмных. И ёлка мерцала
гирляндой, и отражалась в шкафу
мучительно. И, в полусне забываясь,
я страшное видел и, просыпаясь,
от боли и ужаса тихо скулил,
боясь и надеясь сестру разбудить.

А чем я болел, и куда наша мама
уехала — я не припомню... Наверно,
на сессию в Нальчик. А папа в ту ночь
как раз оказался дежурным по части...

И жар нарастал,
и ночь не кончалась,
и тени на кухне всё громче и громче
шушукались, крались, хихикали мерзко!

От них я в аду раскалённом скрывался,
под ватным покровом горел-задыхался...
и плавился в невыносимом поту...

Короче — вот тут-то, в последний момент —
я знаю, он был в самом деле последним! —

вот тут-то и щёлкнул английский замок,
вот тут-то и свет загорелся в прихожей!
И папа склонился — «Ну как ты, сынок?»,
и тут же огромный шуршащий кулёк
он вывалил прямо в кровать мне и тут же,
губами прохладными поцеловав
мой лоб воспалённый, шепнув — «Только Сашке
оставь обязательно, слышишь!», исчез...

Короче —
я весь в мандаринах волшебных лежал,
вдыхал аромат их морозный, срывал
я с них кожуру ледяную, глотал
их сок невозможный, невообразимый...

Сестре я почти ничего не оставил...

Короче —
вот это, вот это одно —
что мне в ощущениях было дано!

Вот эту прохладу
в горячем бреде

с тех пор я ищу
и никак не найду,
вот эту надежду
на то, что Отец
(как это ни странно)
придёт наконец!

И всё, что казалось
невыносимым
для наших испуганных душ,
окажется вдруг так легко излечимым —
как свинка, ветрянка,
короче — коклюш!

2005

ЛИРО-ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Не гордись тряпочка — ветошкой будешь!

Пословица

То было позднею весной. Раскрасив ярко
полоску узкую небес и лесопарка
в распахнутом окне между высоток двух,
пятьдесят третий май смущал мой скорбный дух.

Предвечная лазурь и кроны молодые,
как облачко вверху, такие ж кучевые
и мимолетные, манили в даль меня.

Вот отчего к концу бессмысленного дня,
осатанев в конец уже от никотина
и от сознания того, что ни единой
пристойной строчечки мой гений не родит,
что, очевидно, мне смириться надлежит
с тем самым лузерством, о коем в прошлом мае
я в злобном кураже шутил, не понимая,
что тряпочке не след гордиться, что она
и вправду ветошкой стать обречена,
в итоге я и впрямь в отчаяньи решился
пойти и погулять, покуда не решился
остатков разума...

Небрит и нехорош,
я, морщась, миновал родную молодежь,
орущую «Ole!» на спортплощадке жаркой,
и, перейдя шоссе, под своды лесопарка
полупрозрачные вступил.

Мою мигрень

и лень унылую такого цвета сень
накрыла в тот же миг, дохнуло вдруг такую
прохладой, и такой свободой и тоскою
повеяло, таким дошкольным баловством,
так удивителен и так давно знаком
был накренившийся, состарившийся тополь,
и мусорный ручей мне памятный до гроба
такую песню мне, дурында, нажурчал,
щенок овчарки был так мал и так удал
и бестолковостью так мне напомнил живо
о Томике моём, так пахнула красиво
сирень, присевшая на ветхую скамью,

что я легко простил горластому бабью,
обсевшему с детьми скамейку эту. Дале
пошёл я, упоён пресветлою печалью
(тобой, одной тобой!) и тщетною мечтой
измыслить наконец хитрющий ход такой,
чтоб воплотить я смог свой замысел заветный,
старинный замысел... Легко и неприметно
оттопал я маршрут давнишний круговой
диаметром версты четыре. Мой герой
лирический воспрял средь «тишины смарагдной»,
вновь впаривая мне похеренных стократно
героев эпоса...

И вновь у кабака

встречают экипаж два русских мужика,
о прочности колёс степенно рассуждая,
а в бричке той сидят... Но тишина лесная
нарушена уже. Я, завершая круг,
вернулся к пикнику бальзаковских подруг
расположившихся средь зарослей синели.

Маманьки к той поре изрядно окосели
от водки «Путинка» с пивком и матерком,
и две из них уже плясали под хмельком.
«Целуй меня везде!» пел плэер. Не готовый
смотреть до полночи на пляски эти, снова
под говор пьяных баб и визг детишек, я
свернул в овраг...

И вот, любезные друзья,
под говор мирных струй, под пенье Филомелы
(или ещё какой пичуги очумелой —
я не берусь судить) в губернский город N
на бричке небольшой въезжает джентльмен.
Сквозь круглые очки он с любопытством странным
глядит на вывеску на доме — «Иностранец
Василий Федоров». Меж тем его слуга,
нисколько не смущён незнаньем языка,
знакомство свёл уже и с половым вертлявым,
и с Селифаном... Но на время мы оставим
александрийский стих...*

* Грандиозный замысел, над которым бьётся мой
лирический герой, впервые пришёл мне в голову
лет девять назад, когда, читая дочери «Посмерт-
ные записки Пиквикского клуба» и одновремен-
но перечитывая «Мёртвые души», я был поражён
необычайным сходством и дьявольскою разницею
этих удивительных книг. Я представил, что было
бы, если б обитателей Дингли Делла описал автор
«Выбранных мест» — настоящие ведь «мёртвые
души» и «вертоплясы», никаких тебе высоких
порывов и устремлений, на уме одна жратва, да

выпивка, да охота, да флирт, да какой-то дурацкий крикет, нет чтобы почитать «Подражание Христу» Фомы Кемпийского. Но ещё интереснее было вообразить, как изменились бы наши Ноздрёвы, Маниловы и Коробочки, увиденные глазами мистера Пиквика и описанные Диккенсом. Я был уверен, что в этом невозможном случае они оказались бы гораздо симпатичнее и невиннее — при всех своих дурачествах, слабостях и пороках.

Тут-то меня и начал одолевать графоманский (или даже мегаломанский) соблазн написать этот невероятный текст и отправить мистера Пиквика и Сэма Уэллера по маршруту Чичикова. Так увлекательно и забавно было придумывать, как главный герой принимает Манилова в почётные члены Пиквикского клуба, как Сэм в кабаке обучает Петрушку и Селифана петь:

We won't go home till morning,
We won't go home till morning,
We won't go home till morning,
Till daylight doth appear!

Как Пиквик, показывая Фемистоклюсу и Алкиду Dingle doosey, чуть не спалил «Храм уединенного размышления», как и чем именно Феодулия Ивановна Собакевич потчевала заморских гостей. Особенно же веселила меня сцена у Ноздрёва — возмущённый Пиквик встаёт из-за стола и со словами «Сэр! Вы не джентльмен!» принимает смешную боксерскую стойку, в то время как Уэллер уже сражается с набежавшей дворней. И как потом, выпив несколько раз мировую, и на посошок, и

стремянную и stirrup-cup, вся весёлая компания отправляется в ночи к зятю Мижухе, прихватив полдюжины того самого «клик-матрадура». А жена Мижуха оказывается действительно чудесной и весёлой, и чрезвычайно привязанной к своему беспутному братцу.

Вот только «заплатанной» Плюшкин никак не поддавался преобразению даже под милосердным и ласковым взглядом мистера Пиквика. Наверное, для него надо было бы придумать какую-нибудь совсем уж романтическую предысторию, какую-нибудь роковую любовь, клятву у гроба и т. п.

Вставной новеллой (вместо капитана Копейкина) должна была стать история, подсказавшая Гоголю сюжет «Шинели» (не помню уже, у Вересаева или у Синявского я её вычитал). Прототип Акакия Акакиевича был также во власти почти несбыточной мечты, но его *idée fixe* не имела никакого отношения к социальной действительности и была чистым и в некотором роде поэтическим безумием. Этот «вечный титулярный советник» грезил наяву о каком-то чрезвычайно дорогом и прекрасном английском охотничьем ружье. И ради него он, как и Башмачкин, отказывал себе буквально во всём, откладывая копейку к копейке и через несколько лет приобрел-таки этот вполне бесполезный в чиновничьем быту предмет роскоши. Но, выехав в первый раз на охоту на какой-то (не помню) водоём, он, любуясь своим сокровищем, впал в такой блаженный ступор, что не заметил, как ружьё зацепи-

лось за, кажется, камыш, упало за борт лодочки и пошло на дно. Незадачливый охотник с горя слёг в тяжкой горячке и был уже готов отдать Богу душу. Но тут его сослуживцы, прознавшие об этой трагедии, устроили подписку, собрали нужную сумму и купили больному товарищу точно такое же ружьё!

Совершенно ведь диккенсовская история и диккенсовские герои! Ах, если б не все мы вышли из страшной «Шинели», если б хоть кто-нибудь вышел из таких вот трогательных глупостей!

В общем, поскольку я сам был твёрдо уверен, что

«объекта эстетические свойства
в конце концов зависят от субъекта»,

я загорелся желанием внушить и читателю свою дикую убеждённость в том, что если б русские писатели были понисходительнее к предмету своего описания, «страхи и ужасы России», глядишь, были бы чуть менее непроглядными, и их искоренение не потребовало бы от пылкой учащейся молодёжи таких радикальных мер.

Во втором томе английские путешественники кроме гоголевских героев должны были повстречаться и с бородатым юношей «в костюме персиянина», и с чахоточным и неистовым журналистом, и с господином в гороховом пальто и многими, многими другими.

А заканчиваться всё должно было следующим образом. Прослышав о знаменитом русском мудреце и подвижнике, мистер Пиквик решает познакомиться с этим замечательным человеком. Погода стоит чудесная, расстояние сравнительно небольшое, и наши путешественники решают пройти пешком. И уже при входе в Степанчиково им навстречу вылетает птица-тройка. «Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? Что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях?»

...А между тем лазурь сменял аквамарин. Последняя из бурь весенних, тютчевских за МКАДом набухала. Там Геба юная уже переполняла громокипящую амфору. Облаков темнеющих гряда сгустилась. Был багров косою последний луч сквозь этих туч скользнувший.

И, ускоряя шаг, я сочинял длинющий и страстный диалог меж Пиквиком моим и де Кюстином (тут я волю дал дурным и стыдным фобиям — как гомо-, так и франко-) но ливень обогнал меня.

А тёток пьянка в кустах сиреневых закончена была. И лишь одна из них раскинувшись спала на той скамье. Её джинсовая юбчонка, задравшись до пула, промокшему ребенку

мамашин рыхлый срам являла. Дождь хлестал.
Пацан противно ныл. Я мимо пробежал,
стараясь не глядеть. И всё же оглянулся
через несколько секунд. И всё-таки вернулся,
кляня себя, её, и ливень и сынка
с пластмассовым мечом. Скользка и нелегка
и невменяема была моя менада,
и ртом покрашенным твердила «Что те надо?
ну чо ты, бля?», когда я волочил её,
и вновь в блаженное впадала забытьё.

То, посреди шоссе утратив босоножку,
рвалась она назад, то вдруг «А где Антошка?
Не, где Антошка, блин?» пытала у меня.
«Ах, вот ты где, сынок! А мамка-то — свинья!
Нажралась мамка-то, сынулечка!», и в лужах
всё норовила сесть. Но в настоящий ужас
Пришёл я, осознав, что спутница моя
не в состояньи путь до своего жилья
припомнить. Усадив ее на остановке
автобусной и вслух назвавши проשמандовкой,
сбежать решил я. Но тут Антошка сам
нежданно указал мечом во тьму — «Вон там!»
Ну, дальше домофон и тщетные старанья
нашарить наугад цифр нужных сочетанье...

Дождь кончился давно. Асфальт ночной сиял.
в отчаяние я впадал и выпадал
в осадок, а моя красотка оживилась,
и сдуру вздумала кокетничать. Открылась
дверь. Растолкавши двух бульдогов и одну
старуху, волоком беспутную жену
в подъезд и на второй этаж втащил я. Ну же, Боже!
Ну хватит же уже!..

Ан нет. Ещё по роже
от мужа и отца, как это ни смешно,
в тот вечер схлопотать мне было суждено.
«Явилася, манда? Наблюдовалась, сука?
А это что за чмо?!» — Чмо отвечало: «Руки
убрал!» Ну а потом, сплетясь как пара змей,
мы бились тяжело под крик площадки всей
и лай вернувшихся не вовремя бульдожек.
Нет, недоволен был взыскательный художник —
он явно по очкам проигрывал...

Потом
я восвояси брёл неведомым путём.
Луна ущербная плыла меж облаками,
асфальты хладные сияли под ногами,
и Пиквик рядышком очочками мерцал,
молчал подавленно и горестно вздыхал.
И даже Сэм притих, наверное, впервые,
ни песни йоменов, ни шутки озорные
не шли ему на ум. Нависло тяжело
молчание. Меня брало за горло зло.
Обиды давние бессильно клокотали.
На спутников моих, исполненных печали
и деликатного сочувствия, не мог
я от стыда смотреть, унижен и убог.

И, натурально, я взорвался — «Что, не любо?!

А вы, голубчики, уж раскатали губы!..

Миссионеры, вашу бога душу мать!!

Ци-ви-ли-за-то-ры!!.. Прощу не забывать
про Крымскую войну!!.. Да ваши-то фанаты
футбольные в сто раз противней!!.. Может, в НАТО
вступить прикажете?!.. А, может, как у вас
нам во священство баб впустить?! Ага, сейчас!..

Ишь ты, Мальбрук в поход собрался!!. Нет, шалишь!!.
Трансваль, страна моя, ты вся горишь! горишь!!.
Милорды глупые!!.»

И с жалостью брезгливой
знакомцы давние мечты моей кичливой
взирали на меня среди хрущевских стен.
И Пиквик прошептал: «Сэр... Вы... не джентльмен?!»

2007

**ВЫБРАННЫЕ МЕСТА ИЗ НЕОТПРАВЛЕННЫХ
Е-МАЙЛ-ов**
(вольная поэма)

1

В сущности,
нет ничего странного
в том, что святого Иоанна Дамаскина
или, скажем, Фому Аквината
мы читаем в лучшем случае
со снисходительной усмешкой,
«Скучая и не веря им»,

в то время как в тяжёлом бреде
какого-нибудь Чорана,
или маркиза де Сада,
или ещё какого-нибудь
не менее именитого
представителя фамилии Ебанько
мы прозреваем последние истины —

так похмельному погорельцу,
тупо глазеющему
на ещё дымящееся родное пепелище,
не хочется и не можетя вспоминать,
что вчера он, нажравшись, заснул
с зажжённой папироской.

Гораздо приятнее думать,
что так оно, видно, на роду написано,
что иначе оно и быть не могло,

что во всём виноват злокозненный
или непрофессиональный
строитель,
пренебрегший правилами пожарной безопасности.
Да и дом-то был ветхий и неказистый...
Да и строить его не стоило...
И ну его на хер!

М о р а л ь:

*Если плохи мир и Бог,
значит, я не так уж плох!
Если жизнь и вправду ад,
значит, я не виноват!*

*Значит, можно дальше мне
благодействовать в говне!
То есть всё совсем не плохо!
Наливай по первой, Лёха!*

2

В телевизионной программе
писателя Виктора Ерофеева
писательница Мария Арбатова
заявила буквально следующее:
«Стыдно
(Или даже она сказала «преступно»?)
внушать детям, что Татьяна Ларина
поступила правильно!»

В смысле, надо было наставить генералу рога
и предаться безумию страстей...

Я это слышал собственными ушами
и видел глазами.

Похоже, любезный читатель,
совсем уже скоро
прелюбодеяние будет вменяться
в прямую обязанность
всем уважающим себя женщинам.

М о р а л ь:

*Воспитательниц детсада
предлагаю обязать
деткам объяснить, как надо
было Тане поступать!*

*Да и мёртвую царевну
осудить пора бы гневно —
это ж просто стыд и срам
не давать богатырям!*

4

Помнишь ли ты старый-престарый анекдот
про Рабиновича,
который изо дня в день досаждал Господу
просьбой даровать ему выигрыш
в денежно-вещевой лотерее?

Помнишь, как долготерпение Божие наконец лопнуло
и с небес раздался глас:

«Рабинович!
Дай мне шанс!
Купи билет!!»

Вот суть теологии всей.

Во всяком случае,
Ветхого Завета.

Потому что в Новом
Господь-таки вручает жадному и глупому
Рабиновичу
выигрышный билет.

Просто надо было поверить и дожждаться
розыгрыша,
а не бежать в лавку,
чтобы обменять Божий дар
на товары народного потребления.

М о р а л ь:

*Коль нарушены правила эксплуатации,
бессмысленны жалобы и рекламации.*

*Производитель ответственности не несёт
за то, что потребитель — повадливый идиот.*

*Несправедливо хулить Страдивари
за то, что мы скрипкою гвоздь забивали
и не забивали...*

2007



Ах, Александр Сергеевич,
ошибочка вышла.
Вы-то судили по Дельвигу
да по себе.
Ну а нам-то, конечно же,
тьма низких истин дороже.

Ближе, дороже, уютней и выгодней нам
тѣмущая тѣма
преисподнего этого низа.

Мы-то себя возвышать не позволим
всяким обманам!
Мы-то уверились —
все, что высоко — обман!
И никаких, никаких, кроме низких,
не может быть истин.
Разве что страшные...
Всё это очень понятно.

Только одно непонятно —
с каких это всё-таки щей
стал почитаться комплекс вот этих идей
свидетельством зрелого и развитого
ин-тел-лек-ту-ализма?
И даже, прости Господи,
некой духовности?

То же ведь самое в юности дикой моей
на окраине города Нальчика

приговаривала шпана,
косячок забывая:

«Весь мир, пацан, бардак! Все бабы — бляди!»

Иль, скажем, надписи в общественных туалетах
из вольной русской поэзии:

«Хозяйка — блядь, пирог — говно!

Е... я ваши именины!»

А коли так, то всё едино,
то всё действительно равно —
противно, скучно и смешно.

Коль именины впрямь такие,
какой же спрос тогда с гостей?
Гуляй, рванина, не робей,
зачем нам истины иные?

Срывай же всяческие маски
и заворачивай подол!
Управы нет, и нет острастки,
гуляй, шпанёнок, без опаски —
твой час (двенадцатый) пришёл.

2007

ARS POETICA

Гляди! Во все глаза гляди, читатель мой!..
Ну, хоть одним глазком, хоть взгляда удстой!

Хоть краешком взгляни!.. Да нет же, не сюда!
Не на меня, дурак, чуть выше — вон туда!

Глаголу моему не хочешь — не внемли,
но только виждь вон то, что светится вдали!

Блик, облик... Да не блик, не облик никакой,
не Блок, а облака над тихою водой!

Всего лишь облака подсвечены слегка.
И ты на них уже смотрел наверняка.

Ну? Вспомнил, наконец? Ну, вот они, ну да!
И лишь об этом речь — как прежде, как всегда!

О как они горят, там, на исходе дня!..
Ну, правда ж, хорошо? Ну, похвали меня.

2007



Их-то Господь — вон какой!
Он-то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
ведёт за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,
и конь его мчит стрелой!

А наш-то, наш-то — гляди, сынок —
а наш-то на ослике — цок да цок —
навстречу смерти своей.

А у тех-то Господь — он вон какой!
Он-то и впрямь дарует покой,
дарует-вкушает вечный покой
среди свистопляски мирской!
На страсти-мордасти махнув рукой,
в позе лотоса он осенён тишиной,
осиян пустотой святой.

А наш-то, наш-то — увы, сынок —
а наш-то на ослике — цок да цок —
навстречу смерти своей.

А у этих Господь — ого-го какой!
Он-то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной
давно под его пятой.
Виссон, багряница, венец златой!
Вкруг трона его весёлой гурьбой
— Эван эвэ! — пляшет род людской.
Быть может, и мы с тобой.

Но наш-то, наш-то — не плачь, сынок —
а наш-то на ослике — цок да цок —
навстречу смерти своей.

На встречу со страшною смертью своей,
на встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдёт,
Никуда не спрятаться ей!

2009

СОДЕРЖАНИЕ

У дороги чибис	7
«Спой мне песню, про все что угодно...»	12
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...»	18
Глупости.....	20
Художнику Семёну Файбисовичу	23
Эклога-2	33
Послание Ленке	35
Сортиры	42
Двадцать сонетов к Саше Запоевой	113
Памяти любимого стихотворения.....	126
Песнь Сольвейг	128
Ibid	130
Инвентаризационный сонет	132
«Всё-таки лучше всего...»	133
«Курицын Слава дразнит меня в “Лит. обозе”...»	134
«Пастернак наделён вечным детством...»	135
«Ну, началось! Это что же такое...»	136
«Ладно уж, мой юный друг...»	138
Заявка на исследование	140
«Вот, полюбуйся — господин в годах...»	141
«Блоку жена...»	142
«С тобою, как с бессмертными стихами...»	143
Юбилей лирического героя.....	144
«Большое спасибо, Создатель...»	146
Чин чина почитай!	149
Пироскаф	150
Внеклассное чтение	151
«Моисеевы скрижали...»	154
Баллады поэтического состязания в Вингфилде	156
«Из заповедей я не нарушал...»	161
«Если уж выбрал малобюджетную роль...»	163
Эпилог.....	166
Лиро-эпическая поэма.....	169

Выбранные места из неотправленных e-mail-ов	179
«Ах, Александр Сергеевич...»	183
Arg poetica.....	185
«Увы! Гип-гип-увы! Крепчает безнадежность...»	186
«Их-то Господь — вон какой...»	187

В серии «Имя собственное» выпущены:

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни
- **А. Генис.** Пейзажи
- **С. Лурье.** Успехи ясновидения
- **О. Шамборант.** Срок годности
- **О. Исаева.** Мой папа Штирлиц
- **В. Соснора.** 15
- **С. Гандлевский.** Странные сближения
- **С. Лурье.** Нечто и взгляд

Предлагаем читателям также следующие книги:

- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Ерёменко.** Горизонтальная страна
- **Гильгамеш.** Аккадское сказание
- **А. Цветков.** Дивно молвить
- **Е. Шварц.** Сочинения в 4 томах
- **С. Гандлевский.** Найти охотника
- **Б. Рыжий.** Стихи
- **В. Соснора.** Всадники
- **В. Павлова.** По обе стороны поцелуя
- **М. Дидусенко.** Полоса отчуждения
- **Н. Уперс.** Апокрифы Феогнида
- **А. Березин.** Пики-козыри
- **Т. Кибиров.** Внеклассное чтение

Приобрести книги можно в издательстве:
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала
«Звезда». Тел.: (812) 273-37-24, факс: (812) 273-52-56

К 38

Кибиров Т. Внеклассное чтение.
Избранные стихотворения —
СПб.: «Пушкинский фонд», 2010. — 192 с.

ISBN 978-5-89803-202-9

ББК 84. Р7

Кибиров Тимур Юрьевич
Внеклассное чтение
«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2010

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»
191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Заказ № 81. Тираж 500
Отпечатано в типографии ООО «ИПК “Бионт”»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,
тел. (812) 322-68-43

ПУШКИНСКИЙ ФОНД